Тридцать лет без Мейена

Ю.В. Чайковский

Институт истории естествознания и техники РАН, 125315 Москва, Балтийская ул., 14

Вот начался ноябрь 2016-го – тридцать лет назад, в начале ноября 1986-го, мы с Сергеем Викторовичем Мейеном начали наши последние беседы, ученые и житейские. Их фон отражен в мемуаре «Сережа Мейен, мой сосед» (переиздано в [Чайковский, 2010а, с. 294–303]), и не буду повторяться, тем более что воспоминания всегда ненадежны, а со времени его написания прошло еще 12 лет. В своих работах стараюсь ничьими воспоминаниями не пользоваться и здесь попробую рассказать, опираясь на записи и как можно меньше вспоминая, насколько изменилось то, о чем мы с ним тогда беседовали, и что осталось прежним, а то и стало худшим.

Надежды западника

На слуху уже вовсю были слова «ускорение» и «гласность», а то и «перестройка». Мейен как завлаб был уже более чем сыт ими и слушал передачи о переменах с настороженным вниманием.

Еще около 1980 года он говаривал, что хочет написать про «Софью Власьевну» (советскую власть) всю правду и пустить ее в самиздат. Не думаю, чтобы он всерьез собирался писать и рисковать, но идея казалась мне полезной. Теперь, когда все сотни раз сказано и оказалось лишним, очевидно, что общество нуждалось и нуждается в ином – не столько в обличении пороков власти, сколько в понимании возможных путей развития своей страны среди других.

Тогда было совсем не так, и «гласность» по большей части состояла в том, что в большинстве СМИ выступавшие ругали власть и что ни день, то злее. Сами по себе разоблачения того, о чем прежде большинство не знало или знало неправду, были более чем полезны, но для людей типа Мейена тайны тут не было, зато он хорошо помнил и не раз вспоминал, как страшно завершались прежние «оттепели» для тех, кто в них слишком верил. Кроме известных мне бунтов (Будапешт, Новочеркасск, Прага), он поведал мне про кровавую расправу в Берлине летом 1953 года (когда все у нас восхищались скромными реформами Маленкова).

Мы и все вокруг нас были западниками, но Мейен особенно. Помню, как, вернувшись в 1977 году из первой своей поездки в Европу, он был зол, словно неожиданно выброшенный из мягкого вагона в грязь. Там ему нравилось все, здесь ничто. С радостью, например, он рассказал, как принимавший его палеоботаник, давний заочный друг, завотделом, повез его, как мы бы сказали, на дачу. Там он «купил себе кусок леса с берегом, и не так уж дорого». Такое приглашение «на дачу» мне бы совсем не понравилось, и я спросил:

– А где там просто погулять приехавшим в выходной из города?

– Да, в общем-то, негде, – сказал Мейен несколько растерянно, но тут же перешел к описанию прелестей иметь свой кусок леса.

Мест общественных гуляний он упоминать не стал, ибо там не был, да и понимал, конечно, что меня сим не порадует. Вместо этого стал уверять (в тот раз или в другой, не помню), как это хорошо, что администрация там вовсе не обязана возиться с ненужным сотрудником, а просто гонит его вон.

– Едем мы утром, машин полно, вдруг идет такой, грязный, лохматый, с утра пьяный, прямо поперек авеню. Визг тормозов, ажан перекрыл движенье, а тот перешел, не глядя. И никому

больше до него дела нет, – закончил Мейен назидательно.

Смолчал я, не зная, как возразить. Чем такой бедолага кормится? Где ночует? Как ему в мороз? Лет через 15, при Ельцине, стали такие и у нас попадаться стайками. Паслись у магазинов, спали зимой, облепив собой теплотрассу, или на сетке воздуходува метро, с детишками в середке. Где их дом? Почему из него выброшены? Куда смотрят городские службы? Оные вскоре нашлись: над выходами теплого воздуха воздвигли конусы жестяных коробов – не уляжешься.

Разумеется, хотелось взять хоть кого-то с ребенком домой, отогреть и отмыть, да нельзя: кто-то пробовал и сам вышвырнут был. (Власть мигом оформила бездомных как владельцев, обратив квартиру в наркопритон, а ему пригрозила тюрьмой за растление малолетки; подтвердить согласились сами бездомные, в том числе и девочка – кому опять на мороз охота?) По знакомым мыкался, потом нашел работу с койкой. Другие по сей день живут на свалках, дети неграмотны.

Замечу: жена моя Наташа смелей меня и проницательней. Встретив ночью на улице девочку лет 10–12 (они как раз – объект липовых дел о педофилии: милиция выпускала таких ночью как приманку для простаков), привела ее к нам домой, а утром отвела к школе, где ее ждала мама, знавшая причуды дочки. Если бы не Наташа, та, попав в милицию, вполне могла стать такой приманкой.

Но все то было позже, а тогда мы были в восторге от прихода к власти лондонской «железной леди» Маргарет Тэтчер. Она поправила бюджет за счет приватизации казенных заводов (хотела еще – школ и больниц), сократила социальные расходы. Это позволило как повысить средний уровень жизни, так и выиграть небольшую войну с Аргентиной за спорные острова (1982 г.). Войну можно бы назвать опереточной, если бы не тысяча трупов, английских втрое меньше, чем аргентинских (ура! – кричали чуть ли не все в Англии). Популярность Тэтчер была огромна, и с нее предлагали брать пример Михаилу Горбачеву (среди прочих, конечно, его попыток сделать у нас «как лучше»).

О «железной леди» и оптимизме Мейена мне пришлось вспомнить на днях, листая журнал «Власть». Описывая английский документальный фильм о бездомных и бездушии социальных служб (режиссер Кен Лоуч, Kenneth Loach), киновед Андрей Плахов приводит чье-то сравнение Англии с нынешней Россией: «Миссис Тэтчер не отошла от дел, она по-прежнему правит, только теперь в России» [Плахов, 2016, с. 45]. Там героиня говорит в финале, что ее друга и спасителя ее детей, не сумевшего получить инвалидность, «убило государство». А мы-то хотели, как в Англии! Как говорится, за что боролись...

Но вот в чем Мейен был прав, так это в своей настороженности.

* * *

Через полгода после смерти Мейена настороженность настигла и меня. Горбачев неожиданно пошел в атаку на своего же ставленника Бориса Ельцина, снял его со всех постов, сделав героем, а вскоре и кумиром – не только у демократов[1], но и у огромного большинства населения. Что-то будет?

Еще через год, в ноябре 1988 года, Горбачев объявил всеобщие выборы. Первые в России всеобщие выборы прошли еще в 1917 году, при Керенском, то были выборы местные – там, где хоть кто-то кого-то всерьез знает. Избранная в их ходе местная власть смогла провести выборы в Учредительное собрание, куда депутатов избирали по уже отработанной процедуре, а сами они были нацелены на оформление верховной власти, и только.

Наоборот, теперь Горбачев решил начать сверху, причем закон о союзных выборах был списан с выборов в царские Думу и Госсовет (1906 г.) и, частично, – в социалистический ВЦИК (Петроград, 1917 г.). Этим Горбачев выбрал тот же путь, каким Россия пошла в первой революции, и, помню, при чтении «Закона о выборах» мне стало страшно. Да и числа были унизительны: так, один голос советского академика (они, в основном, были близки к власти) равнялся десяти тысячам голосов рядовых граждан.

Обойдется ли мирно, или будет кровавая каша, как в 1905-ом? Как обойти западню, расставленную стране Горбачевым?

Опуская подробности, пусть и любопытные, скажу лишь, что были в горбачевском законе пункты хуже царских. Например, по царскому закону армия и госаппарат не участвовали в выборах, и они действительно не участвовали, тогда как при Горбачеве вельможа использовал на выборах аппаратный ресурс, после чего выбирал, что себе оставить – прежнее кресло или депутатский мандат. Мы терпим это и прочее поныне.

Первое, что пришло в голову, – объяснить все академику Сахарову. Лет 10–12 назад он был у нас дома (по правозащитным делам, коими занималась моя мама) и едва ли помнил меня по давнему чаепитию, где я больше слушал; но все же позвонил ему. С первых же слов он понял суть

[1] Кавычек не ставлю, не умея отличить убежденных от именующих себя так, если им нужно.

дела и предложил тут же, хотя был уже вечер, приехать к нему домой.

До сих пор не могу простить себе, что не записал по возвращении ту беседу, как записывал беседы с Мейеном. Счел, видимо, что главное – то, что было сделано, а не то, о чем и как говорили. Это, конечно, неверно.

Помню впечатление, поразившее меня второй и последний раз в жизни (первое было при знакомстве с Мейеном): едва начинаю объяснять, а он уже все усвоил, и мне надо замолчать. Только ведь с Сережей мы рассуждали на отвлеченные темы, а с Андреем Дмитриевичем – о том, что надо делать.

Сидим на кухне, он неожиданно сильно постарел. Показываю ему выдержки из царского проекта «Булыгинской Думы» (тот был спешно придуман в ответ на волнения после «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 г.), и Сахаров поражен сходством с горбачевским законом. Напомнив, что тот закон был принят в штыки обществом, и царю пришлось тут же радикально его изменять, пытаюсь начать про западню и прочее, но Сахаров уже все понял и спрашивает (не меня, конечно, а себя и жену, Елену Георгиевну), как быть.

Хода беседы не помню, но смысл ее был в том, что Горбачев – двигатель реформ, что Сахаров сам обязан ему своим возвращением из небытия и потому бороться с ним грешно, а вот нужно. Что Горбачев обещал выпустить его на Запад, и ему так хочется повидать коллег-физиков, коих он никогда не видел.

Мне бы смолчать, но вопрос «как быть?» задан вроде бы и мне, а это вроде позволяет мне озвучить мое мнение – что принять еще один дар от правителя, притом необязательный (загранпоездку) – значит, стать совсем зависимым, сдать позицию в борьбе. Сахаров обещал подумать, и мы расстались.

Жить Сахарову оставалось год, и он не мог ждать. На Запад он все же поехал, вопроса о том несуразном законе не подымал, зато на Съезде народных депутатов неожиданно оказался главным борцом против Горбачева, явно испугавшегося того, что сам затеял.

Выборы на Съезд народных депутатов СССР прошли 9 апреля 1989 года, и в тот же день в Тбилиси свершилось новое «Кровавое воскресенье»[2]. С этого, думаю, пошло падение режима Горбачева и развал СССР.

[2] См. [Собчак, 1993]. Как и при царе, никто наказан не был. Наоборот, генерал А.И. Лебедь, командир десантников, рубивших девушек саперными лопатками, стал вскоре кумиром демократов и кандидатом на пост президента РФ; по его рекомендации его начальник, генерал И.Н. Родионов, командовавший побоищем, стал министром обороны РФ.

Недавно (9.11.2016) Андрей Мовчан (математик по образованию, экономист) сказал в эфире «Эха Москвы», что Россия, сбросив власть КПСС, вернулась прямо в царскую эпоху, точнее, в канун второй революции.

Это ново: в умилении толпы пишущих ростом российской экономики межреволюционных лет как-то затерялись факты огромного и все росшего разрыва между богатыми и бедными. И постсоветская Россия вернулась, по существу, на тот же гиблый путь.

Успех дела, как тогда, определяют связи с нужными людьми, а не его суть. Гарантий со стороны государства нет, как и тогда – явный, по Мовчану, признак распада.

Что-то это мне напомнило. Что? Ах да, предсмертную диктовку Мейена.

* * *

За месяц до смерти, уже распластанный на постели, он продиктовал то, что думал о «перестройке» в Академии наук. Заодно там было живо рассказано о связях, нужных ученому для успеха – не только в карьере, но и просто в работе. И вот, через много лет, читаю ту диктовку [Мейен, 2001а] снова.

Тогда она не слишком была интересна: как и у других – почти весь текст ее был отведен известным бедам, и лишь в конце две фразы робко касались пути к желанным переменам. Первая: необходимо расцепить советское *триединство* (научное звание, привилегии и командный пост). Вторая: разъединить их не удастся, ибо академики своего не отдадут, а кто может отнять, непонятно.

Мейен оказался прав: предложение отменить академические ежемесячные дотации (у академика – в размере директорского оклада, у членкора – старшего научного сотрудника без стажа) не поддержал ни один из трех тысяч членов Академии, даже Сахаров. Об отказе академиков от должностей и вовсе никто не молвил, хотя все знали и знают, что ученый и начальник – таланты разные.

О реформе науки

Что касается нашей всеобщей надежды, будто свободные выборы приведут в Академию ученых, а не чиновников, то и она не оправдалась. Мне уже случалось напоминать, как члены и претенденты в драке за места в Академию (декабрь 1987 г.) вовсе не вспомнили о лучшем, чем все они, кандидате в три отделения Академии (истории, литературы и философии). То был Алексей Лосев, некогда пострадавший от госбезопасности. Но кому теперь нужен был слепой старец?

Появились предложения по реформе науки, и расскажу об одном – как потому, что вел записи, так и потому, что оно вскоре же было реализовано и в наше время успешно добивает науку. Его автор и глашатай, биофизик Максим Франк-Каменецкий [1988], вскоре бежал от дела рук своих в Штаты, откуда по сей день напоминает, как хороша его идея и как плохи исполнители. (Да, куда уж нам, жалким, без него?) И по сей день удивлен, отчего прежние друзья его избегают.

Блестяще обрисовав загнивание позднесоветсткой науки, он предложил и лечение – описал западную систему научных *грантов* как единственный возможный путь спасения.

Он объяснял: чтобы получить деньги, завлаб посылает проект в один или несколько фондов, «специально созданных для стимулирования фундаментальной науки». Проект поступает «на рассмотрение совета фонда, куда входят крупные ученые». Они сами не читают, а должны «назначить шесть рецензентов из числа специалистов» в данной области, причем три – иностранцы. Те оценят проект в баллах в течение месяца (!), а если их мнения сильно разойдутся, то «давших негативные оценки рецензентов якобы можно вызвать на совет фонда для объяснений». Арифметика баллов и рублей, «лучшие проекты, уложившиеся в выделенную сумму, принимаются», удачливый завлаб набирает штат, закупает, что нужно, и делает открытия, а неудачник, как и должно, плачет.

Точнее, ищет работу и жилье по всему свету, для чего надлежит отменить прописку и прочие атрибуты советской власти. Неужто это говорилось всерьез?

Каменецкий отнюдь не простак, неужели он всерьез думал, деля деньги, решать проблемы науки? Нет, конечно, тут что-то иное.

В его кругу о науковедении (теории развития науки) не знали ничего (мне случалось бывать там), но почему и в редакции сборника никто не объяснил автору, что спасать надо не тех редких завлабов, что сочетают качества ученого и дельца, а науку как таковую, то есть умственную деятельность? Почему никто не указал ему на зловещую близость его построения с «Государством и революцией» Ленина, где чиновник так же властен и благостен? Впрочем, вызывать иноземцев «на ковер» не додумался и Ленин.

Несоответствие критической и позитивной частей статьи, как, впрочем, почти у всех (правых, левых и прочих), поражало. «Истинные научные школы выиграют в первую очередь» – простодушно уверял автор. Интересно, откуда он заранее знает, что выиграют именно истинные? Да очень просто – кто выиграет, тот и истинный. Вечная идеология войны и рынка: победитель всегда прав.

Да, была тогда общая рыночная эйфория, и сам я, что греха таить, верил, что рыночные отношения могут спасти советскую экономику. Но наука? Все мы вроде знаем, что она – структура нерыночная, что здесь наиболее ценно то, что еще не имеет спроса. Идея, которую поймут в некоем фонде (и найдут для нее шестерых экспертов из разных стран), не может быть нова. Интересно, куда смогли бы подать свой «проект» Кеплер, Мендель, Дарвин или даже Эйнштейн уже в XX веке?

«Да полноте, ребята-западники, рыночная ли вообще ваша фантазия?» – осенило меня (и было записано), когда дошло до сказки про 6 экспертов. «Не столь же вы наивны, чтобы не чуять того, “на чем собаку съели”».

Эксперты в проекте столь восхищены оказанной им честью, что «исполняют свои функции бесплатно»[3], зато «работа председателя и штата фонда должна хорошо оплачиваться». А членов совета? С ними-то как?

Как появится властный председатель (он «подбирает состав совета»), Каменецкий не сказал и тут-то проявил полный реализм: когда в самом деле стали возникать фонды, никто не спросил на сей счет ученых. Нет, не на рынок, не на демократию рассчитывал премудрый автор, а на привычного *руководящего товарища*; ведь как раз те товарищи привыкли считать научным лишь то, что готовы дружно подтвердить солидные эксперты.

Завлабы, члены советов фондов и эксперты – одни и те же люди почти сплошь (Каменецкий один из них и знаком с западным миром), им проще не тонуть в необъятном море «чужих» заявок, а договориться, найти зарубежных друзей и поделить деньги. Вот для кого вся затея: для себя (так и оказалось).

Кстати, а деньги-то откуда? Кто платит, тот и заказывает, это все знают, но об их источниках у прожектера ни слова.

Мне-то Мейен в свое время показал, как важно ученому знать азы науковедения. И легко было понять, что Каменецкий пишет для тех «руководящих товарищей», кто зашорен рамками *нормальной науки*, той, что катится по накатанным рельсам и знать не хочет нехоженых троп. Почти

[3] Фарс очевидный: серьезный отзыв очень трудоемок. Будучи приглашен в эксперты, за неделю я получил свою квартальную зарплату. Нас было не 6, а лишь двое. Приглашая, меня просили найти знакомого и писать с ним согласованно. Но мы стояли на своем мнении, и более нас не звали.

все возится по этим рельсам (почти все факты и их объяснения добыты в ее рамках), однако сами рельсы проложены отнюдь не такими, кто заполнит потом собою поезда (а уж эксперты – отнюдь не первопроходцы), все это тоже знают.

В нормальной науке карьера обычно важней поиска истины, тут принят клич: «Пусть неудачник плачет». А Каменецкий был уже тогда по уши в карьере, притом американской. Словом, посмеявшись, я рад был, увидав его на очередном митинге, сказать:

– Максим, с восторгом прочел у тебя критическую часть, но что касается предложений, то хочется написать пародию.

Улыбнувшись снисходительно (кто он и кто я?!), он проплыл, словно лайнер мимо лягушки. Написать пародию не вышло (самый текст выглядел пародией), и осталось заявить в единственном доступном мне тогда СМИ:

«Развивая систему грантов (американский метод финансирования научных программ), мы можем только окончательно развалить нашу науку. Гранты – атрибут нормальной науки в нормальном социуме. Нельзя воспроизводить <...> образцы на абсолютно инородной почве» [Чайковский, 1989, с. 25].

О, как хорошо бы мне тогда ошибиться! Правда, и ошибка нашлась, но лишь одна: западный социум оказался столь же «нормален», сколь и его гранты. Один из его фондов, работавший тогда в ельцинской России, прислал отказ на мою заявку (российские фонды и того не делали). Вот его текст целиком (опущено только название фонда):

«Глубокоуважаемый Юрий Викторович, Международный отборочный комитет <...> рассмотрел заявки, поступившие на конкурс в 1993 году. К сожалению, Ваш проект не вошел в число рекомендованных к финансированию Комитетом. Рассмотрение и обсуждение проектов было глубоким и серьезным. Из 2500 заявок, полученных Фондом, Фонд смог профинансировать только 102. Конкуренция в конкурсе минувшего года была очень высокой, и Комитету пришлось делать очень нелегкий выбор среди большого числа превосходных проектов. От имени Отборочного комитета <...> благодарю Вас за предоставленную возможность ознакомиться с Вашим проектом и узнать о Ваших творческих планах. Мы надеемся, что Вы при всех условиях сможете продолжить работу по данной проблематике.

С уважением (подпись)»

Вот это да! Прямо, как у Лоуча, но за 30 лет до его фильма. От белейшей бумаги и чудесного шрифта (лазерный принтер был еще диковинкой) несло провинциальной пародией в духе то ли Щедрина, то ли Платонова. На что они там «надеются»? Ведь в заявке честно отвечено на все бесчисленные вопросы анкеты и ясно написано, что работы прекращены, приборы отняты, коллекция хранится по квартирам сотрудников. Сидящих, кстати, без зарплаты. И просил я гроши – минимум зарплат, еще меньше на матчасть и ничего – на помещение и поездки.

Да читал ли кто заявку в ходе «глубокого и серьезного»? Нет, не читал – текст отписки един для всех и число заявок дано округленно. Не удосужившись пересчитать, удосужились все их прочесть? Не смешите.

Как, помнится, прежде все мы сетовали на бездушие советских отписок, но ведь ни одна из них не смела нарушить железное правило советской бюрократии: хотя бы один абзац должен демонстрировать ознакомление чиновника с сутью дела и один – излагать причину отказа. Можно было обращаться выше по начальству, в газету, к депутату, в суд. А тут поставлена точка.

Пусть условия конкурса нелепы (зачем объявлять четыре широчайшие темы с десятками подтем, если денег – всего на сто грантов?), пусть отписка лицемерна (никто не читает заявок, кроме «нужных»), – мы должны благодарны быть уже за то, что «заморский дядя» хоть кому-то хоть что-то платит.

«Но так и быть должно, – дошло тут до меня. – Грант значит по-английски “дар”, а спорить с неподарившим абсурдно».

Но почему Максим счел, что этим путем можно спасти нашу науку? Спросить бы его, да что спрашивать? До меня и без того доходило, что сам он и его круг регулярно получают гранты. Они давно, еще при «застое», вписаны были в эту западную систему (использующую рыночный язык, когда удобно, но вполне административную) и в своем успехе не сомневались. А до судеб российской науки им дела, видать, не больше, чем «заморскому дяде». Рушится – значит плоха.

* * *

Однако причем тут Мейен? А притом, что с самого начала он увидал, чего не будет.

«Бурная “перестройка” началась в АН СССР в конце 1985 года». «Возник шум – и <...> никакой реальной перестройки не было. За этим, как обычно, последовало написание бумаг. <...>

Одним словом <...> неприятностей от этих перестроечных шагов очень много, а ***дела*** *<...> до сих пор не было <...> разговоры о перестройке вызвали своеобразный приступ бюрократиче-*

ского страха и позыв к самосохранению. <...> На заведующих лабораториями посыпались дождем приказы.

Ничего не сделано, <...> боюсь, что и не будет сделано, потому что затрагивает она святая святых Академии – способы формирования ее кадров и значение всей этой организации» [Мейен, 2001а, с. 272–273].

Вот чего не поняли Каменецкие, если они вообще пытались что-то понять: нет смысла строить схемы распределения денег по учреждениям, пока отсутствует понимание устройства системы управления наукой и государством в целом.

До недавних пор Академия была, как и в СССР, министерством науки, а ни в каком министерстве нет распределения средств и благ внешними советниками. Система грантов смогла лишь вписаться в общую систему присвоения благ, когда интересы целого в расчет не принимаются почти или вовсе. Так было тогда во всем, Каменецкие это учуяли.

Указанное Мейеном «триединство» важно для власти очень: делает начальников покорными, а чины (даже не дающие благ в работе) желанными. Недаром при нынешнем разгроме науки власть его сохранила. Однако дело не в самом «триединстве», а в его корне, в бюрократическом устройстве государства.

Мейен сетовал на бюрократизм как на свойство чиновников, ни разу не сказав о бюрократии как классе и как типе государства. Это не в укор ему, так как в то время такого знания у нас практически не было.

Бюрократия как класс

Пока шла «перестройка», опасный рост бюрократии (что отметил Мейен еще в 1986-м и в начале 1987-го успел продиктовать) большинству не был заметен. В ее росте я убедился лишь в 1989-м, став членом Ученого совета. Рост не пугал нас, ибо мы считали бюрократизм порождением большевизма (на самом же деле, теперь ясно, что, наоборот, он сам был крайней формой бюрократии, когда она бесконтрольна) и простодушно ждали ее исчезновения. Глеб Павловский [1991], ярый тогда демократ, с ужасом отмечал, что смена власти не дает ничего. Но он был не вполне прав: едва в августе 1991-го демократы взяли власть, газеты взвыли о новой (поверх «перестроечной») волне бюрократизации.

Газеты писали, что за годы «перестройки» число чиновников выросло в Москве впятеро (Независимая газета, 1991, № 143, с. 8), что Ельцин опирается на бюрократов и этим хуже Горбачева (там же, № 146, с. 5), что под видом свободы рынка чиновники убрали из Уголовного кодекса 11 статей о должностных преступлениях (Россия, 1991, № 47, с. 2) и т.д.

Как у нас, так и на Западе свирепствовал тогда марксизм, он видел определяющее различие государств *не в формах управления, а в формах собственности*. Он видел в западном обществе три основных класса – капиталистов, землевладельцев и пролетариат. Чиновники как класс сюда не входили, хотя они и есть класс управляющих.

Карл Маркс в молодости грубо ругал бюрократию как язву государства, но, уехав из хиревших княжеств Германии в передовую Англию, где бюрократии (в германском смысле слова) не было, к теме охладел. Российская бюрократия осталась ему чужда.

Ее своеобразие и всевластие традиционно объясняли в России восточным влиянием, а 120 лет назад Павел Милюков объяснил особой ролью Центра, и эта смесь царит, по сути, до сих пор: если западные государства складывались из самоуправлявшихся общин раннего Средневековья, то российское, наоборот, – путем распространения центральной власти на окраины, где самоуправления прежде не было, а если оно (казачье) обнаруживалось, то подавлялось.

Ныне признанная наукой позиция сходна:

*«**Российская специфика**. В России <...> до XVIII века доминировала смесь византийского и татарского вариантов, причем последний в свою очередь использовал элементы китайского образца, в частности в сборе налогов. Таким образом, преломившись через золотоордынскую призму, пришел в Россию китайский образец управления. С петровскими реформами в эту модель добавились элементы, заимствованные от европейского абсолютизма <...>. С XIX века, особенно со второй его половины – со времен реформ Александра II, начали развиваться и элементы модели рациональной бюрократии. Однако в целом «имперская» модель государевой службы все же преобладала вплоть до 1917 года, а в советский период она получила новый мощный импульс»* [Антонова и др., 2005, с. 171].

Советская идеология гласила к тому же, что в СССР с уничтожением капиталистов и землевладельцев сформировались два класса (рабочие и колхозное крестьянство) и «прослойка» (интеллигенция). Кто правит? Партия. Чьего она класса, не говорилось, да никто и не спрашивал.

Характерно, что Мейен ни разу не помянул партию – ее стали ругать позже. Еще позже, при Ельцине, и то немногие, заметили, что безудержное разрастание бюрократии вызвано имен-

но ликвидацией единого бюрократического аппарата – партии. Единственную партию как класс аттестовал еще Милован Джилас на сорок лет раньше, хотя она не класс, а рабочий инструмент класса.

Как заметил драматург Евгений Шварц, чтобы не бояться нашествия драконов, следует иметь собственного. Но кого именно?

В России со времен ордынского ига правили чиновники, правили остальными тремя основными классами, во многом пересекавшимися – землевладельцами (помещиками и однодворцами), городскими собственниками (купцами и мастерами) и крестьянами (земледельцами). Казенными мастерскими, землями и крестьянами чиновники правили прямо, остальными – через их владельцев. Были еще важные «прослойки»: наемные работники города и деревни, духовенство и войско.

В эпоху Великих реформ прежние землевладельцы сильно поредели, зато крестьяне стали постепенно реальными землевладельцами (оставаясь земледельцами) и вырос класс капиталистов, во многом новый, который вскоре же стал претендовать на власть. Эти классы перемешались с собой и с быстро росшим классом рабочих, один только класс чиновников остался неизменным.

В этих терминах легко выразить основной факт: в ходе Великой российской революции чиновничество уничтожило собственников, обратив остальное население в пролетариат города и села. Произошла, так сказать, *Великая Октябрьская бюрократическая революция* (подробнее см. статью «Горизонт познания...» в сб. [Чайковский, 2010а], а также статьи «Бюрократия» и «Революция 1917 года в России» в сб. [Чайковский, 2014]).

В этой оценке нужно пояснить лишь одно: бюрократией в России именуют не то, что на Западе, откуда многие черпают идеалы. Вопрос о различии бюрократий ныне вполне разработан в учебнике трех разумных дам [Антонова и др., 2005, с. 173]. Например:

«Исходя из анализа историко-географического развития бюрократии, можно выделить азиатскую традицию ее развития: с многоступенчатой, склонной к произволу и неэффективной администрацией и два варианта традиции западной: континентальную и англо-американскую. <…>

В XXI век “азиатская форма” вошла в несколько модифицированном варианте».

У нас (в бывшем СССР) «бюрократия действует своеобразно: существуют своего рода законы и регламентирующие инструкции, но они не соблюдаются или соблюдаются в таком объеме, в каком соответствуют определенной идеологической установке, основанной не на том, что есть, а на том, что якобы должно быть».

Далее наши авторы пишут, что

«на Европейском континенте демократизация политической системы произошла намного позже, чем возникла бюрократия, и в целом традиция достаточно разветвленного и обладающего немалыми полномочиями государственного аппарата исполнительной власти сохранилась и была довольно безболезненно инкорпорирована в политические системы демократии. В Америке же процесс был обратным: государственным идеалом американской революции было самоуправление свободных людей на свободной земле и сильное недоверие к любой исполнительной власти, ассоциировавшейся с колониальной администрацией» [там же, с. 174].

То, что произошло у нас, легко понять, наложив сказанное на схему Милюкова: переселенцы расширяли Россию принудительно, даже в Сибирь они шли не столько сами, сколько как посланцы за пушниной и (позже) как искатели руд. Они не могли думать об отделении от России, не чувствуя себя самостоятельными. (А в Сибири еще и потому, что почти нигде там нет земледелия.) Бюрократия воспринималась как единственная мыслимая форма управления, что и было закреплено Петром I в полной мере. Поэтому наш тип бюрократии – особенный.

Нынешнюю нашу ситуацию называют «бюрократически-политической монополией», когда «чиновники начинают играть основную политическую роль» [Антонова и др., с. 175], чего нет ни в западных, ни в азиатском типах бюрократии. В прежних восточных империях (Китай, Индия, Турция) чиновник был полным хозяином над работниками, но совсем бесправен перед имперской властью. То же было в России при Петре I и при Сталине. Страх чиновника ослаб при Хрущеве, а при Ельцине и Путине чиновник ощутил полную безнаказанность, из чего нам и надо исходить.

Много написано о классовой черте бюрократов – умении радикально менять установки, дабы остаться при должности. Вот один пример. В 1990-м для успеха на выборах непременно требовалась экологическая позиция, и все лидеры (даже Егор Гайдар) выступали ярыми защитниками природы. Например, «Программа Республиканской партии РФ» 1990 года включала важную экологическую главу, но от нее с приходом партии в парламент (лето 1991 г.) в «Программе»

осталась одна пустая фраза (см. [Чайковский, 1992а, с. 88]). Отказ лидеров от экологической тематики был тогда во всем мире общим (что еще придется нам вспомнить при обсуждении темы далее), но общество долго этого не замечало.

Что все это значит? А то, по-моему, что демократы и в 1917-м, и в 1991-м проболтали все[4], ничего не поняв. (Еще хуже оказалось в 1993-м – см. далее.) Горстка «кухонных стратегов» (увы, и я среди них) совсем затерялась среди партийных и комсомольских работников, почуявших возможность сделать такую карьеру, какая им прежде даже не снилась.

И (вот главное!) если бы демократы могли, как 25 лет назад, снова взять власть, они бы все проболтали опять, своей страны и общественных наук не зная и знать не желая.

Любопытно, что А.А. Любищев, интеллектуал, учитель и кумир Мейена, выявив чиновников («служилых людей») как особую часть общества Руси, наивно отнес их к «населению, которое, как правило, не эксплуатировало других» [Любищев, 1995, с. 130]. Хотя чиновников как управляющий класс кое-кто из прежних, досоветских историков осознавал (см. о них, например, [Чайковский, 2014, с. 81]), но не Любищев. Зато он счел Ивана IV, как почти все, чистым извергом, а вот Петра – «революционером на троне».

Эта слепота поразительна, но не думайте, что Любищев был в исторической науке так уж прост. Нет, там, где знал существо дел, он мог видеть дальше других. Например, он ясно понял [Любищев, 1995, с. 123], что так называемая марксова пятичленка (первобытная община, рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм) является тем самым, что Мейен позже назовет рефреном.

Про рефрены и эволюцию

Ученик Мейена и издатель его трудов И.А. Игнатьев [2005, с. 384] пишет:

«По мнению Мейена, многие эволюционные проблемы значительно продвинулись вперед, если бы удалось организовать разнообразие в более обозримые структуры. Практически, он построил несколько параллельных рядов изменчивости листьев ископаемых растений, но затем пришел к идее изображения "закона преобразования" органов».

Все так, только без «но». Идея рядов у Мейена осталась, а ряды, ставшие строками и столбцами таблиц, привели его к рефренам. Факт этот не был мне понятен, Мейен мне его охотно разъяснил, и с его слов у меня записано, что архетип (по Мейену) –

«Это обширная таблица, где каждая строка – мерон, а каждый столбец – возможная в принципе для данного таксона особь» [Чайковский, 1990, с. 39].

Такой архетип служит объектом дальнейших построений. Строка (мерон) образует с аналогичными строками других архетипов другой ряд, и в нем может быть обнаружена новая закономерность – одна и та же направленность изменения некоего свойства. Так, может одинаково усложняться расчлененность листовой пластинки или скелет конечности. Этот ряд направленных рядов и называется рефреном. Правда, Мейен [1978, с. 501] выражался сложнее:

«Эту повторяющуюся, подчиненную одному правилу преобразования последовательность состояний мерона назовем рефреном».

Но сам он был неудовлетворен таким определением и еще дважды менял его. Поэтому мне показалось лучшим говорить про «ряд направленных рядов». Представление о рефренах, составленных из меронов, легло в основу того, что после смерти Мейена было названо диатропикой. С ее точки зрения,

«эволюция – это реализация нового столбца, но прогрессивная эволюция всегда включает появление новой строки (и связанных с нею новых столбцов). До появления птиц в таблице позвоночных не было, например, строки «перья» или, если таблица менее детальна, – в строке «роговые покровы» были пусты клетки, соответствующие всевозможным перьям. Вообще, большинство клеток таблицы пусто всегда (поскольку особь задается комбинацией признаков, а мерон – самими признаками), зато число строк и столбцов в ней необозримо, и нет смысла выписывать ее в явном виде. Она – средство теоретического анализа, подобная матрицам в математике, которые можно изучать, не выписывая самих таблиц в явном виде» [Чайковский, 1990а, с. 39].

Рефрены можно выявить на всех уровнях. Например, В.А. Красилов ввел понятие *ангиоспермизации*: «Характерные признаки цветковых растений независимо развивались в нескольких ли-

[4] Еще в 1730 году предки интеллигентов проболтали все, и к власти вернулись петровские бюрократы в самом злом виде, выдвинув Анну Иоанновну [Милюков, 1903]. Забавно: Яков Гордин [1994] увидал в этом провале пролог Октября.

ниях мезозойских голосеменных». Причем такой же феномен наблюдается в эволюции животных: «Термины гоминизация, маммализация, артроподизация <...>, ангиоспермизация довольно прочно вошли в литературу» [Красилов, 1977, с. 86, 88].

Такими «-зациями» он всюду обозначал сборку организма высшей организации из блоков, независимо появившихся у предков в различных группах низших организмов, то есть устроенных проще. Все «-зации» вместе образуют межцарственный рефрен, а с тем и общую закономерность эволюции.

Помню, Мейен звонит мне и, среди прочих новостей, как бы невзначай, бросает, что раскрыл многолетнюю «отвратительную тайну» – происхождение цветковых. Разумеется, я восхищен (как вообще тогда Мейеном), но позже понял, что сперва Красилов показал ее общий, а не «отвратительный», характер, а затем Мейен указал возможную модель, притом диатропического свойства.

Диатропический подход к эволюции широко цитируется[5], Мейена обычно признают его автором, и это прекрасно. Однако движение вперед оказалось хоть и значительно (см. тексты «Практичная теория», «Диатропика», «Эдвант» и «Итоги» в книгах [Чайковский, 2010а, 2014, 2016]), но далеко не столь велико, как хотелось бы. К примеру, совсем не продвинут диатропический аспект флорогенеза, хотя частично сам флорогенез хорошо разработан трудами Ю.В. Мосейчик.

Разумеется, диатропические феномены то и дело публикуются, но с диатропикой не увязаны[6], а в сводках по «современной теории эволюции» их нет. Кстати, сводки эти (например, [Раутиан, 2006; Лашин и др., 2012; Бородин, 2013; Журавлев, 2014; Skene, 2015[7]]) поражают дремучим (сорокалетней, а чаще столетней и более давности) теоретическим архаизмом. Эволюционные новации, если изредка и фиксируются, то подаются как курьез или, в лучшем случае, как новый ламаркизм, даже если речь идет прямо о диатропике (шире: о новом номогенезе). Создается впечатление, что авторы новаций и обзоров ничего, кроме «своего» круга работ, не только не читают, но о них и не слыхали.

Отчасти в небрежении к диатропике был виноват сам Мейен, часто писавший, топя крамольную мысль в похвалах догме, дабы запутать цензоров и догматиков.

Так, эффект Шапошникова[8] он трактовал как «соматическую индукцию» (наследование приобретенных свойств) [Мейен, 2001б, с. 302–307]. На самом деле новый вид тлей в опыте Шапошникова (1956–1958 гг.) заполнил уже существующую клетку диасети[9] (сходство вплоть до скрещиваемости с тем видом, что занимает ее от века, а это изумительно) и явился *первым четким экспериментальным подтверждением нового номогенеза*. Ранний номогенез завершен работами А.А. Любищева, о чем см. [Игнатьев, 2005].

Сверхбыстрое приспособление тлей к новому источнику питания было неизбежным свойством данной (новой) клетки диасети, не требующим соматической индукции. Ламарков эффект тоже наблюдался, но – в постановке опыта: понимая, что идет обучение (ламарков процесс), Шапошников иногда устраивал тлям «выходной день», то есть отдых на прежнем источнике питания. Этим пресекалась элиминация слабых, и с восьмого поколения наблюдался рост численности – вопреки идее движущей роли отбора, как искусственного, так и естественного.

Поясню: первые 7 поколений шел рост изменчивости и смертности, что Шапошников называл отбором, но едва ли искренне. Если бы он задумал чисто селекционный опыт, то «выходной» следовало исключить.

Размышляя сегодня над «ламаркизмом» комментария Мейена к работам Шапошникова, не могу допустить, чтобы Мейен не заметил сути эффекта Шапошникова, так как в то время уже сдал в редакцию свою статью о номогенезе

[5] Слово «диатропика» недавно названо 12 тыс. раз в Яндексе и 1,5 тыс. раз в Гугле (в 2006 г. было 324). И это притом, что сами последователи Мейена избегают применять данное слово, предпочитая термин «мерономия-рефреномия» и еще более громоздкие. Они хождения иметь не могут.

[6] Рефрены, согласно Мейену, видны всюду. В исторической науке это – то, что Фернан Бродель [1992, с. 17] назвал «правилом, выявляющим тенденцию». Это, например, самодовлеющий «мир-экономика»: Римская, Китайская, Турецкая и Российская империи; но это и Западная Европа.

[7] В данной статье изложена теория эволюции диссипативных структур времен Ильи Пригожина (1972 и позже), противопоставленная «новому синтезу» Джулиана Хаксли (1943). Других западных обзоров новее 2004 года найти не удалось.

[8] Получение нового вида тлей за 8–10 поколений путем смены кормового растения. Опыт открыла публике Татьяна Петровна Чеховская (копию ее статьи см. в [Мейен, 2001б, с. 298–302]), показав этим лучший образец научной журналистики. И Мейен дал комментарий к ее статье. Про Г.Х. Шапошникова см. [Чайковский, 2010б, 2014].

[9] Диасеть (диатропическая сеть) – одно из основных понятий нового номогенеза. Обозначает рефренную структуру изучаемой группы (таксон это или нет – неважно).

[Мейен, 1974]. Остается предположить лишь одно: поскольку в то время он начал участие в трудной борьбе за переиздание трудов Л.С. Берга, то сознательно уводил неприятелей Берга от мыслей об опытном подтверждении номогенеза.

Сам Мейен, насколько знаю, был далек от размышлений о ламаркизме. По-моему, он был чистым номогенетиком, и его можно даже назвать основателем *теории* нового номогенеза[10], но и только. Когда я спросил его, покупать ли учебник ботаники Хржановского, он ответил небрежно: «Это же сплошная физиология». Мысль о том, что жизненные отправления и их молекулярные механизмы тоже образуют рефрены, его не занимала. По его смерти, на грани веков, физиология предоставила свой великолепный рефрен, едва ли не самый общий (после генного кода) в биологии – общность иммунитета.

Про эволюцию и иммунитет

Когда Н.И. Вавилов ввел понятие «иммунитет растений», ему кто-то возразил ехидно: «Разве вы обнаружили антитела у растений?» В самом деле, ни антител, ни фагоцитов у растений нет, а иных атрибутов иммунитета тогда не знали. Однако главный и до сих пор загадочный феномен – «видовой иммунитет» (почему близкие виды болеют разными болезнями? – этого никто не знает по сей день) – общ у растений и у животных, и интуиция не подвела великого ботаника.

Тогда же был открыт врожденный иммунитет у беспозвоночных (червей, улиток и некоторых членистоногих) [Porchet, 1928][11], тоже без антител – то были фагоцитоз и внеклеточный бактериолиз. Но еще полвека учебники и руководства по иммунологии были нацело поглощены адаптивным (приобретенным) иммунитетом теплокровных, лишь мельком, и то не всегда, упоминая фагоцитоз – механизм, общий для тканевых животных. Растения там не поминались вовсе (о них, как и о врожденном иммунитете вообще, существовала небольшая отдельная литература, с иным аппаратом и мало кому известная).

Но в 1989 году (т.е. уже после смерти Мейена) американский иммунолог Карл (Чарлз) Джаневей обнаружил, что адаптивный иммунитет запускается иммунитетом врожденным, каковой оказался гораздо сложнее, чем думали сто лет. Тем самым, адаптивный оказался надставкой врожденного, без коей почти все живое вполне обходится. Зачем он, столь опасный, вообще нужен – стали спрашивать себя вдумчивые иммунологи (для меня это были Г.И. Абелев [1997] и А.А. Ярилин [1999]), и иммунология начала обретать новый облик.

Вспомнили старую догадку (Фрэнк Бернет, 1961, 1971 гг.), что основная функция иммунитета – контроль онтогенеза, а если так, то фантастически сложный адаптивный иммунитет теплокровных, часто убивающий хозяина, необходим для успеха фантастически сложного онтогенеза нервной системы теплокровных (точнее см. [Чайковский, 2010б]). В 2000-х годах у растений был найден в принципе тот же сложный тип врожденного иммунитета [Шафикова, Омеличкина, 2015].

Стали находить также и элементы адаптивного иммунитета, и не только у растений, но даже у бактерий. Это заставило вспомнить учение Ламарка:

«Система антивирусной защиты и адаптивного иммунитета у <…> бактерий, по всей видимости, работает непосредственно через предложенный Ламарком механизм» [Кунин, 2014, с. 299].

В основе любого иммунитета лежит механизм молекулярного узнавания, он всеобщ для живого, ибо работает и при считывании генного кода, и при избирательной адгезии (слипании) клеток в онтогенезе. Общность кода объясняют происхождением всех организмов от *общего предка*, каковой прежде трактовали как первичный организм, а поняв, что единственный организм экологически невозможен, стали трактовать как первичную экосистему, позже распавшуюся на различные организмы. Теперь добавлю: если так, то общий предок уже обладал чем-то вроде нынешнего врожденного иммунитета.

Когда-то (в 1970 г.) Мейен уже задавал вопрос: как получилось, что эвкариотная клетка почти одинакова у животных и растений? Неужели общий предок уже обладал всей этой сложнейшей фабрикой? Вопрос требует отдельного рассмотрения[12], а здесь замечу, что открытия в иммунологии сдвигают данный вопрос в глубь веков еще гораздо дальше, к эпохе прокариотной биосферы.

Так или иначе, врожденный иммунитет у растений и животных образует два весьма сложных и столь же сходных параллельных ряда направ-

[10] В смысле сознательно поставленных опытов новый номогенез начат раньше, Шапошниковым и Агаевым. Сам Мейен колебался в определении своих взглядов [Игнатьев, 2015а].

[11] Этот журнал с пионерской работой Берты Поршэ есть в Библиотеке МОИП.

[12] Диатропика клеток гласит, что однообразны лишь клетки высших, тогда как клетки одноклеточных эвкариот устроены и делятся весьма различно [Чайковский, 1990, п. 6.3].

ленных процессов, то есть рефрен. Об иммунитете грибов известно очень мало, а вот иммунитет некоторых бактерий очевидным образом встраивается в данный рефрен в виде отдельных позиций пока еще не изученного ряда. Неизбежны два вопроса:

1. Если иммунитет столь общ, то развился ли он уже в первичной экосистеме (до появления организмов) или развивался в разных царствах живого независимо? Первый ответ, если принять его, дает сильную позицию креационизму (самое важное имели уже первые организмы – где же эволюция?), а второй – номогенезу (главное развивалось параллельно). Об отборе независимых вариаций здесь, как и всюду, говорить нет смысла ввиду необозримого числа требуемых согласованных вариаций, а детальное сходство все равно остается принять как номогенетический факт. Мне более симпатичен номогенез, и тогда встает второй вопрос.

2. Что происходит в параллельных рядах: течет один и тот же материальный процесс или же общей является лишь идея, а реализующие ее процессы и материальные объекты различны? Оказывается, есть и то и другое, и во втором случае надо говорить о параллелизме идей [Чайковский, 2010б, с. 53].

Второй случай вполне соответствует идейной позиции Мейена, когда тот рассуждал об эволюции как о закономерном преобразовании форм. Однако он рассуждал абстрактно и притом лишь о форме, а теперь мы видим, что так оно и есть функционально: одну и ту же иммунную функцию (например, презентацию антигена) реализуют различные молекулярные механизмы, иногда совсем разной природы.

При общении с Мейеном меня удивляло и даже чуть огорчало его нежелание обсуждать эволюцию на языке мутаций генов. Помню, как биофизик С.Э. Шноль, блестящий ученый и лектор, но в те годы фанатичный селекционист, в январе 1976 года сказал студентам на лекции (Зимняя школа в Институте водных проблем, Борок, Ярославская обл.), что гены определяют все. Мейен спросил язвительно: в каких генах может быть записано, что кошки ловят мышей? Шноль ответил запальчиво, что полное прочтение генома кошки даст ответ и на это, спор окончился ничем, и мне казалось, что если не привычки, то строение кошек действительно задают гены.

Но через 25 лет, уже без Мейена, оказалось, что он был более чем прав: полное прочтение ДНК одного мужчины показало лишь, что генов (кодирующих цепей) так мало (всего 30 тыс.), что даже строения и даже вчерне они задать не могут. Ведь только в головном мозге триллион нервных связей. Значит, есть еще какая-то наследственность.

Тут и важно сравнить с адаптивным иммунитетом: при смене поколений наследуются не антитела (их возможен тоже триллион), а способ их построения, когда нужно. И оно, нужное строение антитела, реализуется не путем долгого случайного поиска (как до сих пор иногда пишут старомодные учебники), а практически мгновенно, в миллионе лимфатических узлов параллельно. Что это ламаркизм в онтогенезе, знают уже сто лет, но это оказался еще и номогенез – параллельный поиск одного и того же антитела по заданной форме антигена.

(Неделя до кризиса болезни уходит отнюдь не на поиск нужного варианта антитела и не на его размножение, а на созревание самих узлов. За это время число микробов, вызвавших болезнь, может достичь триллиона, тогда как одна рождающая антитело клетка делится всего 10 раз, т.е. дает лишь 1 тыс. потомков. Следовательно, нахождение нужного антитела идет параллельно во всех узлах – путем многократной презентации опасного антигена в каждом узле.)

О прогрессе

Эволюция без прогресса («плоская эволюция») сама по себе, на мой взгляд, малоинтересна, но Мейен никогда не обсуждал со мной идею прогресса[13], лишь однажды заметив, что разные уровни сложности «разделены барьерами несводимости». В печати же повторял, вслед за науковедом В.В. Налимовым, что всякая подлинная новация, а с тем и появление нового уровня сложности, чисто случайна. Эта позиция не только затрудняет работу, но и просто неверна.

Случайна траектория с низшего уровня на высший, если наблюдать с низшего уровня. А с высшего она может быть детерминирована законами этого уровня. Иными словами, новация случайна лишь в том смысле, что детерминирована «сверху», а не «снизу», или, что система задана не своими элементами, а высшей системой. Но сам Мейен не раз заявлял, что стоит именно на системной позиции. Как же так? (об этом см. следующий раздел).

[13] Даже там, где она касается диатропики. Например, на его материале (голосеменные и их эволюция в цветковые), где хорошо видна ангиоспермизация. («Синдром покрытосемянности формировался в разных сегментах разнообразия этой группы разными путями».) Здесь Мейен отметил лишь единичную предполагаемую им сальтацию («перенос признаков с одного пола на другой») [Игнатьев, 2015а, с. 9], но не прогресс и не рефрен.

Если полагать, что высший уровень возникает позже низшего (а в эволюции принято считать так), то прогресс задается своим результатом. Это целевая причинность по Аристотелю, игнорируемая в материализме. Хотя общая теория эволюции, сопровождаемая повышением уровней сложности (эволюционная термодинамика [Skene, 2015]), была уже известна в годы Мейена, но была лишена конкретности и не привлекала биологов.

С тех пор многое изменилось: в биологию начала проникать теория фракталов (с 1975 г.), и наметилась (с 1991 г.) теория случайности на грани порядка и хаоса [Чайковский, 2010б, 2016; Богатых, 2015], способные, на мой взгляд, стать основой новой теории прогресса, поскольку они дают идее возникновения новых уровней реальный механизм.

Нужен лишь толковый биолог-математик (а не просто биоматематик) или, еще лучше, – целая их дружная команда, так как сперва придется строить фрактальную теорию онтогенеза и теорию экологии, аппарат для коей еще не просматривается. Нужна не просто «статическая гимнастика для ума»[14], а рабочая теория эволюции, особенно прогресса.

Кстати, в той ранней статье 1970 года, единственном рассуждении Мейена о прогрессе, нет слов «отбор» и «селекция», в чем мне видится результат его переписки с Любищевым. Тем более что в рассуждениях автора там хорошо виден след прежних селекционных воззрений – то и дело поминается некая «теория вероятности», запрещающая одно и разрешающая другое. Таковой теории в науке не существует, а всем известная теория вероятностей никакого отношения к обсуждаемым тут темам не имеет, поскольку требует для начала работы ввести исходные понятия (прежде всего, пространство элементарных событий с их вероятностями[15]), чего никто еще в эволюционизме не сумел. Зато именно там Мейен впервые описал простой всеобщий рефрен – параллель эволюции эвкариотной клетки у растений и у животных.

Можно еще удлинить и усложнить ее, добавив сведения о врожденном иммунитете, ибо таковой заведомо у ранних клеток был и, вероятно, развивался в обоих рядах по одним и тем же законам – иначе, как уже сказано, придется признать креационизм (все важное вложено в живое в самом начале).

Развитие иммунитета оказалось основой высшего прогресса: возник адаптивный иммунитет теплокровных, контролер того онтогенеза, что обеспечил появление нас с вами.

Номогенез у Мейена

Мейен не хотел назвать себя номогенетиком, полагая, что свои взгляды следует обозначать своим термином, и что номогенез – не вполне эволюция, поскольку «номогенетики видят закономерность в структуре, а говорят о законах в динамике» [Игнатьев, 2005, с. 380]. После опытов Шапошникова, Агаева[16] и других это явно не так, и мое мнение иное: основных концепций известно совсем мало и близкие мысли надо объединять в теории, а не разъединять. Свою позицию, кстати, обозначаю словом *актиреф* [Чайковский, 2010а, с. 96; 2010б, с. 56], соединяющим ламаркову активность с рефренами Мейена.

Он назвал свое построение «номотетической теорией эволюции» (взяв термин у Любищева), хотя это лишь раздел некой более общей теории, а ее удобно называть по-прежнему, номогенезом. Тем более что дитя стало быстро вылезать из отведенной ему одежды комбинаторных рамок, примеряя себе то, что Леон Круаза (Croizat) из Венесуэлы еще раньше назвал панбиогеографией.

«Мейен, крупнейший палеоботаник ушедшего столетия, несмотря на отход от номогенеза, был едва ли не единственным отечественным палеонтологом, который проявлял интерес к общим закономерностям эволюционных преобразований признакового пространства» [Игнатьев, 2005, с. 383].

Для этого лучше всего быть именно палеоботаником (или, как Г.А. Заварзин, бактериологом), так как именно здесь вводить оное пространство полезно (наоборот, животное, да и живое растение, определяется комплексом свойств, а не набором признаков). Эволюция как траектория в данном пространстве весьма наглядна, но новациям здесь нет места, это – лишь «преформационная сторона эволюционного процесса» [там же, с. 384], а значит, нужна более сложная модель. И Мейен сумел если не описать ее, то наметить. Речь идет об эдвантах.

[14] Так Мейен назвал в 1970 году размышления над заведомо неразрешимыми проблемами, уподобив их попыткам раздвинуть руками дверной проем [Мейен, 2001а, с. 308–315].

[15] Знаменитый математик П.Л. Чебышев определил теорию вероятностей как вычисления одних вероятностей из других. Поскольку вопрос о сути самой вероятности не рассматривается, постольку лучшее определение едва ли возможно. (Определение вероятности как нормированной меры не касается ее сути как явления природы.)

[16] М.Г. Агаев [1976] получил близкие Шапошникову результаты на пшеницах.

Оказывается, многим (возможно, и всем) легко видимым явлениям эволюции можно указать некое обобщение, некое более широкое явление, причины коего не видны, хотя само оно налицо и сомнений не вызывает.

Так, никого не удивляет *гетеротопия*, когда предковый орган реализуется у потомков в ином месте тела (например, побег на месте листа или брюшные плавники рыб на горле). Однако на новом месте орган может оказаться выстроенным из иных материалов иной молекулярной природы, так что перенесена не материя органа, а его идея. Таковы и *гомеобоксы* – сходные гены, кодирующие онтогенез органов, сходных функционально, но различно устроенных (конечность насекомого и позвоночного, гораздо позже возникшего). Гомеобокс позвоночных относится к гомеобоксу членистоногих как *эдвант* (точнее см. [Чайковский, 2010а, с. 321]).

Вскоре после Мейена «преформационная сторона» дополнилась эпигенетической: американцы «изобрели велосипед», переоткрыв жоффруизм (эволюцию через прямое воздействие среды на развитие зародыша). Для этого переоткрытия биология развития дала много нового [Гилберт и др., 1997], и родилось направление *evo-devo*, а в нем открыты гомеобоксы. К сожалению, сам Этьен Жоффруа Сент-Илер известен им только как оппонент Жоржа Кювье, а Мейен как эволюционист неизвестен (вне круга палеоботаников) вовсе. Им же хуже.

Про эволюцию и экологию

Как и физиология, экология мало занимала Мейена. Меня, наоборот, она занимала и занимает во всех ее формах, а для построения теории эволюции она необходима. И, видя это, он однажды одарил меня афоризмом:

– Проблемы экологии станут делом государства тогда, когда чистой природы станет недоставать самим правителям.

В ожидании сего он, кажется, вполне доволен был тем, что его французский друг, из среднего класса, купил кусок леса, чем спасает его от деградации. Ныне мы видим то же у нас: близ Москвы и не только земля раскуплена, изъята из сельского хозяйства и перегорожена. Что еще хуже, владельцы, обойдя закон за сходную цену, рубят лес в «своих» владениях. Кавычки означают мою уверенность, что земля, как и планета, одна у всех.

Так сейчас, а тогда, вскоре по смерти Мейена началась (у нас и на Западе) экологическая эйфория – мир понял ценность разнообразия природы и обществ. Это побудило меня увидеть в диатропике Мейена зачатки нового видения мира. Увы, с падением СССР передел власти в мире оказался важнее.

Первый удар по спасению природы нанес провал «Конференции ООН по окружающей среде и развитию» (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.), и в этом я вижу подлинное западное отношение к «экологической этике», весьма отличное от благостных трудов экописателей. Они, кстати, как и экочиновники, были вполне довольны итоговым документом Конференции, хотя он совершенно пуст.

Конференция готовилась с размахом, а кончилась ничем. Этого можно было ожидать: социально-экологическая газета «Набат» (Минск) предсказывала, что противостояние «Север – Юг» не даст государствам возможности объединиться, да и воли к этому их лидеры не проявляют [Хижняк, 1992]. Встреча в Рио состоялась торжественная: 118 стран было представлено главами государств или правительств. Но намеченный итоговый документ согласовать не удалось: богатые страны отказались признать те природоохранные меры, от которых должна была понести убыток их экономика [Минеев, Чекурдинов, 1992]. Их заменила пустая «Декларация по окружающей среде и развитию».

После конференции о ней почти не писали – даже экологические издания. Лет 35 пришлось ждать оправдания афоризма Мейена, и вот, кажется, час настал: в 2016 году заключено сразу три международных соглашения об ограничении загрязнения атмосферы. Пишут о них мало, большинству тема скучна, а некоторых даже бесит[17]. Но факт налицо: четыре главных загрязнителя (Китай, США, Индия и ЕС) впервые договорились ограничить выбросы, к ним примкнуло большинство стран, и соглашение вступает в силу. Роль этих соглашений в задаче спасения природы мала, но главное – положено начало. Видать, даже у правителей в их «своем куске леса» дышать стало трудно.

Россия, как обычно, противится (в Сибири и Арктике еще полно свежего воздуха), ведя себя все еще как сверхдержава, и даже великого и опасного соседа не слушая. Но влиять на общую политику уже не в силах:

«пока весь мир развивает зеленые технологии, РФ как будто отрицает их потенциал, в результате рискуя усугубить собственную <...> отсталость в этой сфере и остаться с нефтью и газом, которые в низкоуглеродном мире <...> никому не будут нужны» [Давыдова, 2016].

[17] Так, журналист Юлия Латынина считает «зеленой Аль-Каидой» (международной бандой террористов) чуть ли не всю защиту природы.

* * *

Как-то приехал в Москву из Владивостока палеоботаник Валентин Красилов, и после бесед с ним Мейен поведал мне радостно:

– Всю палеоэкологию я оставил Вальке.

И поступил он верно: В.А. Красилов разрабатывал экологию (новую и древнюю, природную и социальную) давно и фундаментально, ибо с интересом.

К нашей теме относится лишь то, что связано с Мейеном, а именно, не столько сама экология, сколько *метаэкология* – так Красилов [1997] назвал свое исследование «подобия различных систем». К сожалению, о фракталах у него речи нет, зато в книге «Метаэкология» то и дело описываются рефрены. Однако там нет не только этого слова, но не назван и сам Мейен. И Ламарк, у коего заимствованы *естественные технологии*, упомянут скупо, зато имя Ч. Дарвина, у коего не взято ничего по сути, пестрит по всей книге. Такая инверсия для Красилова обычна, за что Мейен, по его словам, тщетно того корил.

Продолжение дел Мейена

Построения Красилова совершенно абстрактны, но известны и попытки приложить идеи Мейена к чему-нибудь полезному для практики. Палеоботанические продолжения хорошо известны [Чайковский, 2010а, с. 8, 259, 318, 331–334, 365]. Здесь добавлю только, что найденное А.Б. Германом недостающее звено в модели Мейена происхождения цветка из конкретного беннетита не просто завершает построение модели, но и служит указанием на одну из реальных линий ангиоспермизации.

Наоборот, схема глобального флорогенеза, многим казавшаяся главной в диатропике Мейена, почти никакого развития не получила. Моя уверенность, что цветковые, висящие единой гуглей[18] и портящие вид схемы (см. ее, например в [Чайковский, 2010а, с. 358]), будут так же детально изображены, как голосеменные, была наивной, – мир оказался не таким.

Мои диатропические работы также известны (см. список литературы). Есть и попытка, на мой взгляд, успешная, завершить работу Мейена по упорядочению воззрений Любищева [Игнатьев, 2015б]. Однако здесь сказать надо совсем о другом.

То, что Красилов назвал метаэкологией, возникло еще до него. В ходе «перестройки» попытки применить факт подобия систем для уяснения как бед Российской империи, так и возможных путей выхода из них обсуждались не раз. Говорили о новой *исторической формации*, причем мне тут помогало знание рефренов и прочего. Приведу выдержку:

«Экономический дарвинизм – так называют французы рыночную идеологию. Сарказм тут не столько в адрес конкуренции, сколько в адрес расширения продаж как цели жизни. Экономический дарвинизм мог, при всей его этической сомнительности, процветать, пока был излишек ресурсов. Затем мог существовать, пока за ресурсы можно было воевать. А теперь, когда надо попросту ограничить их расход, он сходит на нет. И тут-то наши идеологи рынка взяли его на вооружение.

В этом есть своя провинциальная логика: в 1917–1927 годах мы, по-моему, успешно строили утопизм XVI века, в 1928–1988 добавили к нему протекционизм XVII века, что позволило создать сверхдержаву, а теперь дожили до идеологии свободной торговли XVIII века. Можно бы надеяться, что внуки доживут и до цивилизованного капитализма, но вот беда: населения сейчас вдесятеро больше, а ресурсы тают. Новую формацию надо определять, прежде всего, через экологический базис» [Чайковский, 1992б].

Видна не названная прямо идея подобия рефренов, дополненная идеей сборки из деталей, поставляемых *синтетическими типами* (термин Мейена), но на основе не морфологии, а нерасчленимой базы трех «Э» – экологии, экономики и этики[19]. Там же сказано:

«Этику, далекую от экономического дарвинизма, нам придется строить самим, и наивно полагать, что сперва можно "наполнить прилавки". При падении нравственности ниже критического уровня нищета неизбежна, поскольку государство теряет инструменты управления. Поэтому "команда реформ" никакими реформами похвастаться не может.

Природа, культура и хозяйство гибнут вместе от единого кризиса, а потому спасти их если и можно, то тоже только вместе, единым комплексом мер. Комплексом трех "Э".

Стратегию спасения нельзя создать усилием воображения, как делают многие, ее надо извлечь из наличных ресурсов страны».

Строить теорию есть смысл лишь в расчете на власть, понимающую, что ее *«задача – выбор из реальных возможностей страны, а не конструи-*

[18] Пятном, кляксой (*Ред.*).

[19] Характерно, что Мейен, равнодушный и к экологии, и к физиологии, был привержен к морфологии и этике. Он не скрывал, что его привлекали законы формы, а не перечисление функций.

рование абстрактной схемы по образцу зоологии прошлого века».

Чуть раньше социолог и политэконом А.С. Шушарин [1991], ничего не зная о диатропике (а об экологии – лишь названия тем), стал строить свое учение о разнообразии, назвав его *полилогией*[20]. И если диатропика Мейена носит явно номогенетический характер, то полилогия Шушарина (в разбираемом здесь аспекте) – эколамаркистский. Сам же он размышлял о том, сколь в политэкономии недостает реальной социологии.

Обычно К. Маркса упрекают в том, что его схема ограниченна регионально (Западной Европой) и концептуально (социология подчинена экономике). Шушарин же, весьма уважавший Маркса, заметил, что она ограниченна еще и чисто экономически. А именно, он впервые за сто лет прямо сказал (при Марксе и до него это говорили, пусть и единицы), что общепринятая «политэкономия» описывает не саму хозяйственную деятельность, а лишь конечный ее этап – обмен продукцией. Потому нет смысла ждать от нее программы выхода из кризиса, если тот вызван не дефектами обмена. (У меня та же мысль высказана как призыв к возврату от меновой политэкономии к исконной, производственной [Чайковский, 2016, с. 102].)

Уверение марксизма, что процессы производства можно успешно обсуждать на одном лишь языке обмена, так же наивно, как уверение дарвинизма, что природу можно успешно описывать на одном лишь языке приспособления. Это особенно ясно ботаникам, видящим, сколь наивно намерение вывести все разнообразие листьев из разнообразия условий обитания материнских растений. И разнообразие типов хозяйств огромно, его нельзя свести к скромному разнообразию типов обмена.

Если все нужные нам разнообразия исследовать вместе, целиком, выявляя общие для них тенденции развития, то «рыночная бесовщина» (так Шушарин назвал веру в то, что «рынок все исправит») встанет в ряд с остальными типами *фундаментализма*. Напомню, что в те годы этим словом именовали все формы религиозного фанатизма, едва подымавшего тогда свои головы, коих ныне стало много. Одна из них, *исламизм*, сейчас грозит нашей цивилизации как целому.

Иными словами, Шушарин еще до российских бед 1990-х годов предрекал их религиозный характер, о котором речь пойдет далее. Основная же масса пишущих утверждала и утверждает, что идет экономический спор, в каковом следует приводить доводы, якобы способные убедить противников.

Было бы большой удачей, если бы исторические формации удалось выявить посредством единого простого принципа, как пробовал Маркс. Он взял таким принципом одну сторону экономики (форму собственности на средства производства и на господство в отношениях с рабочими) и, как заметил Шушарин, успешно описал только тот социальный уклад (современный ему), в котором эта форма играла ведущую роль.

Отметив, что ни одну формацию, кроме рыночной, нельзя приемлемо определить в марксовых терминах, Шушарин все-таки использовал для удлинения ряда (поиска черт новой формации) марксов рефрен, «пятичленку», точнее, одно его свойство – объединение того, что прежде было разрознено.

А именно, рабовладение собрало работников в казарму, феодализм – в помещичью деревню или ремесленный цех, капитализм – в фабрику. Далее, социализм обобществил собственность, а затем (как и новый капитализм) обобществил технологии (сложное изделие изготовляется на разных предприятиях). Наконец, обобществление перешло границы государств: возникли транснациональные корпорации (ТНК). Процесс общ для капитализма и социализма, что и наводит на мысль о новой формации.

Шушарин не описал и не назвал ее, но заявил, что грядет именно она, а не возврат к капитализму, и указал на важные ее черты, в том числе диатропические. Пути назад в истории не бывает – это говорили тогда многие, но отдельные черты и даже комплексы повторяются (рыбы похожи на рыбоящеров, а те – на дельфинов), что в быту легко принять за движение исторического времени назад.

Шушарин предрек, что предпринятая в те годы попытка соединить *достоинства* уходящих формаций без знания их сути фактически приведет только к соединению их *пороков*. И, увы, оказался прав. Мысль была близка активистам, далеким от новой власти, и статья Шушарина, хоть и тяжелая для понимания, недолго, но широко обсуждалась.

Он заявил, что грядет новое глобальное обобществление. Имея в виду ресурсы – информационные и природные, он даже аттестовал формацию как «экофильную», но прав оказался лишь с информацией: миром вскоре же завладел Интернет, проникший во все сферы жизни и деятельности.

Возникшее вскоре противостояние действительно стало чисто религиозным (все доводы

[20] См. также посмертно изданный труд [Шушарин, 2005–2006]. Ниже он не использован.

сменила единая дихотомия «свой – чужой»), и победил не прежний строй (рыночников, демократов или социалистов), а обобществление по совсем новому принципу.

Но Шушарин не смог угадать, что именно будет обобществлено сразу же. В один класс объединились чиновники, бизнесмены и депутаты, а затем и высшие силовики. Противостоять некому, ибо прежние, с советских пор, слои общества беспомощны, а начавший было расти активный класс средних и мелких собственников (производители, торговцы, содержатели услуг, например, школ) уничтожается, и никакие документы не помогают.

Хоть это против закона, остальные в массе согласны, а то и рады любому объяснению властей – например, что снесенные за ночь сотни строений (с их техникой) были неказисты. Неужто стоит спрашивать такой народ, кого выбирать и как править? Или прав был Мейен в своем аристократическом небрежении?

По прочтении «манифеста» [Шушарин, 1991] становилось ясно, что, кроме обычных, длительных, формаций, бывают краткие (типа Возрождения) и что в одну из них мы тогда входили [Чайковский, 1992а, с. 107].

Ныне, как при И.В. Сталине, масса встала в единый класс – пролетарии. Надолго ли? Едва ли. Любая формация опирается на экономику и культуру, пусть для нас и несуразные, а у этой нет ни хозяйственного, ни экологического, ни культурного базиса. Проест она наличное и сгинет, как сгинули безграмотные средневековые коммуны. Но что придет?

Вот мой давний вывод: смысл имеет не прямой прогноз («будет так»), а *диапрогноз* (указание возможностей типа: «если – то») [Чайковский, 1992а, с. 70]. В «перестроечные» годы возможность диапрогноза была реальна: в дискуссиях называли западные, латиноамериканские, африканские и даже фантастические варианты (утопии).

При этом фактически изучались только западные, и те поверхностно. И никто не назвал (насколько знаю) северокорейского варианта, а он ныне самый для нас близкий.

Как видим, для диапрогноза важны все возможные варианты предстоящих событий, а не поиск среди них самых вероятных.

О «Принципе сочувствия»

О работе Мейена «Принцип сочувствия» много написано, и далекие от естествознания люди даже видят в ней его главный труд. Мне, однако, она была скучна – все верно, но зачем писать всем известное? Ничего, кроме пресловутого «Ребята, давайте жить дружно!», было не видать. Да и сам Мейен, как пожаловалась мне однажды его жена Рита, не всегда оному принципу следовал. Так что же, о принципе сочувствия стоило забыть?

Нет, готовя этот очерк, нахожу свою запись октября 1993 года, сразу по сожжении Ельциным Верховного Совета. Вот она.

* * *

Пятого октября я боялся идти на работу. Не потому, что здоровяки в бронежилетах могли избить и даже искалечить (о таком мы стали узнавать позже), а потому, что ждал «глубокомысленных» суждений коллег. Типа: «Погибших жаль, но теперь начнутся настоящие реформы»[21]. Не спорить же? Не их ведь это мысли, это они телевизору вторят, а он, как и ныне, вещал в пользу власти.

Самый тяжкий удар нанес на другой день газетный киоск. «Поберегите ваши слезы» – бросила плачущим газета «Президент», причем автор и редактор – женщины. Вернее, носят женские имена. Не называю их – пусть лучше умрут для истории.

И на той же странице «самая глубокая признательность» Григорию Явлинскому за то, что он, противник Ельцина, тоже призвал: «никакой пощады» противникам президента.

Ну ладно, «Президенту» так положено, однако рядом «Известия»: «Писатели требуют от правительства решительных действий», и имена известные, все демократы горбачевской поры. Выходит, что гора обгоревших трупов – этого нашим демократам мало. Надо, как демократам древних Афин, уничтожить поверженный город, сохранив жизнь лишь тем, кто годен в шахту или в постель. Нет, и там, кажись, живьем все же не жгли.

---

[21] Вот примеры ближайших реформ из одного номера «Независимой газеты» (1994, № 38), в те годы действительно независимой:

1. Вдобавок к упомянутым выше 11 статьям УК, отмененным в 1991 году, миллионер Артем Тарасов, став депутатом Думы, добился амнистии всем, кто (как и он сам) крал госимущество в годы «перестройки» (с. 1).

2. Из «Основ законодательства о труде» предложено изъять все права профсоюзов (с. 2).

3. Прекращены все расследования коррупции, которые Верховный Совет начал против высших чинов исполнительной власти (там же).

4. Несмотря на массовую невыплату зарплат, на 40% повышены оклады всем видам отрядов спецназа (там же).

ЕГОДНЯ 5 окт

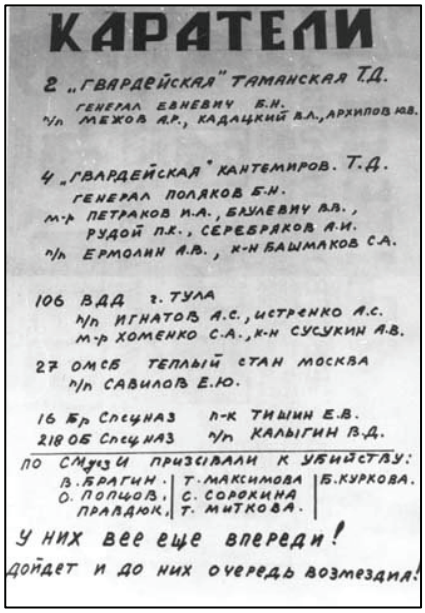
ОЛИТИЧЕСКАЯ И ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА 1993, Вторник, № 61

За власть завершилась кровавым побоищ
Число жертв исчисляется сотнями

Колоссальное количество жертв — огромная цена за выход из конституционного тупика. В отличие от августа 1991 года в Москве никто не собирается ни торжествовать, ни праздновать победу. Тем более что погибли не только солдаты, дело которых — воевать, не только сторонники Руцкого и Хасбулатова, добровольно взявшие в руки оружие, погибли не только журналисты, которые также добровольно, осознавая весь риск происходящего, освещали московские бои. Погибли и просто мирные жители.

С самого начала московского противостояния было ясно, что тот, кто первым откроет огонь, тот, кто первым пойдет в атаку, рискует проиграть все. Первыми сделали это защитники Белого дома, и хотя ничто не может оправдать неподготовленность московских властей к этой акции, именно это предопределило то, что баланс сил качнулся в сторону президента. Его поддержала и армия, и большинство российских регионов. Но страной надо руководить и дальше, хотя бы до новых выборов, и руководить, опираясь не только на силу. Ведь вокруг Белого дома эти две недели, также, как и вокруг Останкинского телецентра,

Обстрел нижних этажей Верховного Совета болванками вынудил людей бежать в подвал и верхние этажи, каковые затем сожжены огнем боевых снарядов



КАРАТЕЛИ

2 „ГВАРДЕЙСКАЯ" ТАМАНСКАЯ Т.Д.
ГЕНЕРАЛ ЕВНЕВИЧ Б.Н.
п/п МЕЖОВ А.Р., КАДАЦКИЙ В.Л., АРХИПОВ Ю.В.

4 „ГВАРДЕЙСКАЯ" КАНТЕМИРОВ. Т.Д.
ГЕНЕРАЛ ПОЛЯКОВ Б.Н.
м-р ПЕТРАКОВ Н.А., БАУЛЕВИЧ А.В.,
РУДОЙ П.К., СЕРЕБРЯКОВ А.И.
п/п ЕРМОЛИН А.В., к-н БАШМАКОВ С.А.

106 ВДД г. ТУЛА
п/п ИГНАТОВ А.С., ИСТРЕНКО А.С.
м-р ХОМЕНКО С.А., к-н СУСУКИН А.В.

27 ОМСБ ТЕПЛЫЙ СТАН МОСКВА
п/п САВИЛОВ Е.Ю.

16 Бр Спецназ к-к ТИШИН Е.В.
218 ОБ Спецназ п/п КАЛЫГИН В.Д.

ПО СМИ ЗИ ПРИЗЫВАЛИ К УБИЙСТВУ:
В. БРАГИН, О. ПОЛЦОВ, ПРАВДЮК. | Т. МАКСИМОВА, С. СОРОКИНА, Т. МИТКОВА. | Б. КУРКОВА.

У НИХ ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!
ДОЙДЕТ И ДО НИХ ОЧЕРЕДЬ ВОЗМЕЗДИЯ!

Редчайший снимок: вот участь настоящего репортера – убит, обнявши настоящего защитника и камеру. Не знаю, уцелел ли автор снимка или сам погиб, снимая, – как тот, что справа

Читаю и глазам не верю. Под грохот президентских пушек 43 писателя требуют – чего бы вы думали? – полной власти президенту (будто у него ее нет) и убиения остатков законности (будто она еще есть). Не верите? Тогда читайте:

«Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступлениям (любому слову в пользу сожженного парламента. – Ю.Ч.)*, должны незамедлительно отстраняться от работы»,* причем прежние органы правопорядка *«признать нелегитимными».*

Кто же будет выявлять столь тонкий элемент, как покровительство, если не юристы? Оказывается, нашим «инженерам человеческих душ» (так называл писателей Сталин) истина ясна и так, без законов и юристов. Требования закончены потрясающе:

«История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это уже было не однажды!»

Вот именно, не упустили, как не упускали (сами невольно признались) и прежде, забалтывая прежние побоища.

Прошла неделя, писатели могли бы успокоиться и одуматься – так нет же: они повторили в печати свой безумный прежний текст, да еще с ужасающим врезом редактора: «Золотая осень победы!»[22]. Вот и подумаем, чьей победы. Пусть парламент был плох, даже никудышен (чего не было, он реально работал и, кстати, избрал Ельцина), но он был законной властью, которую президент, вступая в должность, клялся чтить без всяких оговорок. Кто будет теперь верить ему?

Увы, ответ прост: все, кто включился в новые игры – чиновные и избирательные[23]. Выходит, исторический выбор уже сделан? Как же так вышло?

* * *

А так и вышло. Достаточно теперь добавить, что среди 43 писателей были и люди гуманные, в том числе наш милый Булат Окуджава, с его нежным «Давайте жить, во всем друг другу потакая». Не сумел.

Словом, блюсти в жизни принцип сочувствия ой как трудно, что и пытался объяснить нам Мейен. И никакой тут натяжки. Почитайте хотя бы восторги Александра Подрабинека, героя и правдоискателя (вспомним хотя бы его «Карательную медицину» в Самиздате брежневской поры).

Подрабинек хорошо знал жестокость ельцинской власти, о чем и писал (см., например, в его газете «Экспресс-хроника», № 40, с. 6), однако приветствовал переворот Ельцина: «Совдепия рухнула, не мелочь», писал он (там же, номер от 15 октября), а через месяц уточнил: «Разгон советов и отказ от советской конституции останутся, может быть, самыми значительными делами президента Ельцина» (там же, № 41, с. 1; № 46, с. 1).

Он столь же хорошо знал, что в «Совдепии» правили не Советы, а партийные комитеты, и, следовательно, с уничтожением нынешнего Верховного Совета рухнула вовсе не она, а нечто иное. Это иное противилось тому, что сам Подрабинек назвал беспределом (а Шушарин – рыночной бесовщиной), и противилось успешно, отчего и было столь спешно уничтожено. Но слово «Совет» было для него чужим, и сочувствия у правдолюба не нашлось.

Тем меньше нашлось его у менее опытных. Демократы дружно заявили, что Верховный Совет не был настоящим парламентом, так как был избран еще при прежней власти. На том же основании большевики когда-то разогнали (но все же не жгли) Учредительное Собрание. Те, кто сознавал эту параллель, смолчали – нельзя же явить сочувствие к чужим.

И тут же поплатились – было разогнано[24] всякое самоуправление: «Президент предложил местным советам самораспуститься, либо они будут переизбраны» (Независимая Газета, 1993, № 192, 8 октября, «шапка»). Районных депутатов так и нет (есть какие-то советники).

После сказанного уже не слишком удивляет описанная многими радость московской толпы, наблюдавшей расстрел парламента. Например: «Меткие выстрелы встречались овацией» (Граж-

[22] Литературные новости. Газета Содружества писателей «Апрель», 1993, октябрь, № 47–48, с. 1.

[23] Ельцин издал указ о выборах в Государственную Думу во время осады Верховного Совета, 1 октября. Избирательная кампания началась сразу (еще закапывали трупы, даже не пересчитав их) и шла бойко, с участием членов прежнего Верховного Совета. Пойдя на выборы, те признали и переворот, и согласие служить в бесправном «парламенте» [Октябрь…, 1994, с. 282, 289]. Пошел даже коммунист Сергей Бабурин, избитый милицией, едва избежав расстрела и первым заявив в печати, что названные властями 146 погибших – лишь поднятые с улиц [Бабурин, 1993], в основном прохожие. Это – попавшие в морги и на экспертизу. Данные о них (141 труп, 130 выдано родным) составлены 12 октября и позже, тогда как СМИ сообщали о массовых захоронениях 6 и 7 октября. Число трупов оценили тогда в 1500 [Никитинский, 1993]. Из нападавших погибло 23 человека, и их (тех, кто не зверствовал) тоже очень жаль.

[24] Наш Люблинский райсовет был выгнан из здания омоновцами с автоматами, и лишь через месяц людям разрешили забрать личные вещи.

данин России (газета), 1993, октябрь, № 9, с. 2). Вот вам и сочувствие!

Неужели все мы такие? Нет, среди восторгов и проклятий, переполнивших газеты, привлекает заявление общества «Мемориал», ничьей стороны не взявшего. Указав на бесправие жертв, оно напомнило, что все мы люди одной страны (Независимая Газета, 1993, № 186, 30 сент., с. 1–2), и только. Сравните: рядом с их заявлением помещено заявление «Клуба-93»: тут вроде о том же, но – с призывом идти на выборы Думы, то есть признать переворот.

Презрение к сочувствию очень старо и идет из самой древней истории. Иногда провозглашают *милость* (христианство, ислам), но и она никогда не становится общей практикой поведения даже для самих провозглашающих. С утверждением *принципа конкуренции в качестве движущего* отрицание сочувствия стало (благодаря марксизму и дарвинизму) официальной установкой в науке, а затем и в остальных сферах бытия и знания.

Однако, если не принимать принцип конкуренции на веру, а исследовать его, то окажется (это показано не раз), что конкуренция нигде и никогда не бывает движущей силой, хотя бывает силой ограничивающей. Из русских здесь наиболее известен Петр Кропоткин. Их игнорируют, не читая, что говорит о религиозном, а не научном, характере принципа конкуренции. Он – вечная основа всех религий вражды (включая рыночную), и потому важно говорить о сочувствии вновь и вновь, что и делал Мейен.

Про отношение к религиям

В зрелости Мейен не был религиозен. Хотя в детстве он был воцерковлен православно, известно мне это стало лишь на его похоронах. Однако к религиям относился с уважением, каковое отношение вполне нас объединяло. Мое отношение к дарвинизму как новейшей из мировых религий он откомментировал кратким тезисом: «Дарвинизм и марксизм конгениальны» и (добавлю, как помню) должны пасть в одночасье.

Тезис побуждает думать об идее рынка как о довольно новой религии. Падение марксизма как правящей религии, естественно, заставило ожидать того же с дарвинизмом, чего не случилось, и было это необъяснимо.

Впрочем, уже в начале 1990-х выяснилось, что марксизм вовсе не пал, а лишь вывернут командой Ельцина наизнанку, чтобы было, как на Западе, рыночно. Так что отбору предстояло похожее, что и оказалось: его толкуют уже не как смену частот, а как смену систем (см. [Чайковский, 2014, с. 129–131]). От этой двойной религии ждать новизны не приходится, ибо полезны не смены толкований, а исследования – природы и знаний о ней.

Мысль не нова, но стала актуальной при провале надежд улучшить жизнь через выборы. Народ в массе своей не имеет политических представлений и голосует за бюрократию (на Востоке, Юге и у нас) или за одну из бюрократий (на Западе). Как прекрасно показали Фернан Бродель [1993] и многие другие, государства богаты не потому, что у них демократия, а наоборот – у них демократия устойчива постольку, поскольку они богаты.

Если изучать хозяйство без рыночного фанатизма, то призыв производить только конкурентоспособную продукцию удивляет. Вещи нужны *для использования*, и если они необходимы, государство поддерживает производство, даже убыточное. Точно так же, если объект закрывается, государство обязано заранее создавать новые рабочие места.

Частник этого делать не будет, это дело государства, и на Западе это давно принято, особенно после войн. Так что наши рыночники, закрывая убыточные объекты (пусть и с уверением, что кто-то создаст рабочие места), вели к распаду хозяйства и морали, каковой и состоялся. То, что выросло на их месте, принадлежит иной формации. Она еще не описана научно, но уже выяснено, что убыточные объекты поддерживать приходится.

Далее, вещь создается лишь в содружестве работников, а конкуренция созданных вещей может повысить качество, но может и резко понизить его. Так, автомобиль «Жигули», лишенный конкуренции, был приемлемой машиной, а брошенный в омут конкуренции, заслужил прозвище: «мешок с гайками», едва способный доехать до мастерской.

Недаром заводчики объединяются в фирму (внутри нее конкуренции нет), а между собой фирмы не только и не столько конкурируют, сколько делят сферы действий. Процесс этот начался задолго до Маркса, но тот так и не заметил, что в «верхнем секторе экономики» (крупном производстве) конкуренция уже в его время слабела. А в наше время осталась она на виду лишь в «конкурентном секторе», который как раз и именуют в науке «рыночной экономикой» [Бродель, 1992, с. 650].

В 1991–1992 годах мы с Шушариным этого еще не знали[25], но не раз пытались объяснять,

[25] Познакомились мы в редакции газеты «Развитие», охотно нас печатавшей, что странно, поскольку мы не страдали шовинизмом, ей (пусть и умеренно) свойственным. В 1991–1993 годах мы несколько раз дружески беседовали (однажды у него дома), но работать вместе не вышло – он не мог мыслить без спиртного, а я – наоборот.

что «внутри корпорации никакого рынка нет, она – административное целое, и потому звать нас сейчас к всеобщему рынку – фундаментализм» [Чайковский, 1992б]. Он зовет в прошлое, в тупик. Говорилось это многими, но верующие не слышат чужих идей. Остается надеяться на приход иной религии, зовущей в будущее и более гуманной, чем нынешние – христианство, ислам, отбор, рынок и т.п.

В качестве маргинальной новая религия давно известна – это *идея спасения природы* (не путать с чиновной «охраной окружающей среды»). Но путь ее в массы нереален, пока идея конкуренции как движущей силы преподается и восхваляется, а идеи взаимопомощи и сочувствия даже не упоминаются.

О желаемом экологически разумном государстве давно пишут, и давно понято, что идея не имеет шансов быть усвоенной обществом в форме закона, принятого парламентом, ибо чужда большинству. Заменить рыночно-селективную идею (антиэкологичную и антигуманную) может идея, способная воодушевить интеллектуальную и деловую элиту, но пока что элиты далеки от этого[26].

Зато еще при Горбачеве социальный эколог Святослав Забелин [1991] заметил, что хотя людей, понимающих необходимость смены стратегии человечества, не больше чем 0,1% населения Земли, однако

«Надо принять как аксиому горькую неизбежность грядущих апокалиптических лет и уже сейчас начать <...> строить в недрах нынешнего общества, как бы рядом с ним и независимо от него, новое общество».

Иначе говоря, элите надо бы начать строить опорные точки экологически альтернативного мира. Насколько это реально?

Об альтернативе

Легко понять, что альтернатива сползанию России в небытие должна быть основана не на старомодной идее конкуренции, а на идеях сочувствия и взаимопомощи. Скажу о том, что тут связано с диатропикой.

Покойный бактериолог Г.А. Заварзин, хороший знакомый Мейена, подарил диатропике идею пространства логических возможностей[27] [Заварзин, 1974], одну из исходных для нее. Он впервые рассмотрел эволюцию бактерий с позиции разнообразия как самодовлеющего явления (а не итога отбора), что противоречит идее конкуренции. Она, как известно из практики, снижает разнообразие. Это было близко Мейену, так как разнообразие форм растений тоже самодовлеет.

Напомню биологам (многим иным сообщу впервые), что экосистемная теория эволюции анти-рыночна: «главный тезис анти-рыночной концепции: функциональное положение организма в трофической системе предполагает в первую очередь кооперацию, а не конкуренцию» [Заварзин, 1995, с. 55].

Став академиком (1997 г.), Заварзин переключился на политологию, придав ей экологический аспект. Его поздние взгляды рассмотрены в статье [Чайковский, 2012], а тут замечу, что он исходил из параллели истории природы и общества, ища в ней «инварианты» (было бы мягче сказать: рефрены).

Общие беды России и мира он, в основном, относил на счет демократии и рынка, а это вызвало его симпатию (на мой взгляд, прискорбную) к деспотиям, точнее к империям. Признавая многое из его критики, замечу, однако, что призывать к деспотии не стоило – она, даже если опустить вопросы нравственные, не обещает устойчивости.

Многовековые деспотии Востока были основаны на четком бюрократическом контроле, и устойчивость там хирела медленно. Наши же деспотии, разбойные и безнаказанные, не переживали своих основателей. Перерывы между деспотиями бывали у нас долгими (десятилетия) и краткими (5 лет), но именно тогда бывали скачки роста культуры и хозяйства. (Что-то вроде прерывистой эволюции.) Здесь легко видеть рефрены, потому такого скачка надо ожидать и готовиться.

Возвраты к бюрократической империи тоже обычны и отмечены [там же, с. 76], но полных возвратов в истории не бывает, чем и надо пробовать пользоваться, ища иные рефрены: ведь диасеть мира сплетена из пересекающихся рефренов разных уровней.

Один из них – транснациональные корпорации (ТНК). В XVII веке они царили в торговле

[26] Видимо, во всем мире. Состояние умов в конце жизни Мейена (нужен, мол, новый тип человека и всемирное демократическое правительство) выразила книга [Минард, 1996]. В ней есть глава «Новая религия» (обсуждение проблем описано в п. 3 статьи [Чайковский, 1992а]). С тех пор ничто не изменилось: идея, годная для экологического просвещения, есть, но пути к ее успеху никем не указано. Мое мнение см. ниже.

[27] Оно хорошо для мира бактерий, плохо для растений (чего, кажется, не понимал Мейен) и негодно для животных ввиду их целостности. Лучше, на мой взгляд, более общее понятие диасети.

[Бродель, 1992, 1993], в XX веке вновь возникли как торговые и промышленные, а в XXI к ним добавляются ТНК, управляемые из Китая (это новый ряд в том же рефрене).

Россия вовсю использует ТНК в области добычи нефти и газа и сборки автомобилей, но здесь путь спасения не просматривается. Нужно нечто новое. Как верно и не раз отмечал Заварзин, новое в нынешних империях – неизбежное нарастание в их стратегиях биоаспекта. Состоит он в сопряжении нужд экономики с возможностями биосферы (не путать с утопической идеей «нулевого роста»).

На днях в этом наметился первый успех (см. выше), и к данной стратегии необходимо примкнуть России. Создавать ныне свои ТНК она не может, но может стратегически выгодно участвовать в чужих. Вот пример.

Налицо новая мировая тенденция – поток активности с востока на запад (500 лет было наоборот), и в ней роль России может быть ключевой [Чайковский, 2012].

Увы, недавно Китай, проведя «шелковый путь» мимо нас, показал, что избегает нашей бестолочи. Но иного пути не видно, и вряд ли Россия после смены власти продолжит свое небрежение к миру: краткая смена курса в таких случаях – тоже российский рефрен. Таковая смена видится мне, прежде всего, в возрождении местного *самоуправления*.

Хотя после первой пары российских революций прошло уже сто лет, мало кем понят тот простой факт, что гибель собственников есть победа бюрократии – больше любят говорить об узурпации власти некой бандой.

Класс собственников даже при наилучших условиях не вырастет сразу, и придется еще много лет уметь жить с бюрократией. Демократия уже раз отдала власть бюрократии, и не видит своей ошибки поныне, так что из реально известных (не вымышленных) установлений могу назвать только самоуправление.

Нелепая ошибка Горбачева видится в создании (с явной целью сохранить свою власть как главного чиновника) подобия демократии, а не реального самоуправления. Он (по невежеству?), видимо, ожидал самоуправления от бутафорских Советов.

В отличие от класса собственников, самоуправление возникает само, едва является возможность. От чиновников при этом требуется одно – не мешать, но и это пока остается мечтой:

«Идеи самоуправления в корне противоречат аппаратно-бюрократическим интересам. Ведь самоуправляемость народа ставит под угрозу существование бюрократизма как особого привилегированного и обособленного от народа сословия» [Антонова и др., с. 177].

Некоторый опыт самоуправления у России был: старообрядцы, полвека земства, несколько лет при НЭПе и т.п. Важней всего, на мой взгляд, в истории России был первый опыт – сельское самоуправление, созданное молодым Иваном IV, пока он не стал Грозным [Богословский, 1909, 1912] и безумцем. Оно продержалось (в основном на Севере, где уцелело от бед Смуты) полтора столетия и уничтожено лишь Петром I.

Разгром Ельциным местного самоуправления, едва вставшего на ноги, демократы почти не заметили (органы самоуправления назывались, как требовал закон, Советами, что исключало сочувствие, что бы за ним ни стояло, – вот признак того, что война была религиозной). Еще прежде (1992 г.) не заметили они полного разгрома Ельциным производственных кооперативов (с чего, насколько помню, началось вытеснение отечественных изделий – сперва западными и турецкими, затем китайскими).

Бюрократия Ельцина, именуя себя демократией, свершила то, что ей следовало: начала с изгнания кооператоров, верно видя в них опасных противников по сути, а не по имени. Демократы же (те, что остались при Ельцине) радостно уничтожали ростки того, к чему прежде стремились, поверив в слова: «рынок – свой, советы – чужие». Затем, как водится, их самих выгнали, а кого и убили.

Как же надо бы? Видимо, следовало, как в странах Балтии, начать с *люстрации*, то есть сразу и целиком удалить из госучреждений всех сподвижников прежней власти. Там это шло слишком жестоко (гнали с работы даже шоферов и уборщиц ненавистных учреждений, гнали просто русских), но цели достигло: новые люди стали строить новую власть.

Там люстрация удалась, ибо воспринималась обществом как изгнание агентов страны-завоевателя, что для команды Ельцина было, конечно, немыслимо. Но дело не в одной люстрации: если просто убрать прежних управленцев, новые соединятся в такую же систему, как та, что уже была прежде.

Относительный успех Балтии видится в том, что люстрация была не целью, а исходной точкой реформ, сами же реформы основаны были не на вольных аналогиях, а на историческом опыте Балтии и смежных стран.

Здесь вспомним идею Мейена – транзитивный полиморфизм (*транпол*). В череде поколений разнообразие организмов умеет восстанавливать себя почти независимо от того, какая его часть берется для размножения [Мейен, 1978; Чайковский, 1992а, с. 68–69].

Генетики склонны видеть тут проявление генов, прежде молчавших, но это заблуждение: сходный эффект бывает и без генов, и без смены поколений. Например, при скоплении заключенных возникают структуры поведений того же типа, что в первобытных обществах, а солдаты, сбежавшие от «дедовщины», будучи помещены вместе, сами являют «дедовщину». Широко понятый транпол есть часть *структурализма* (учения о свойствах систем, не зависящих от свойств элементов, их составляющих) [Чайковский, 1993, с. 128–129].

Так как же быть? В истории России виден бюрократический тип правления как основной рефрен, а демократии как формы правления не было никогда, так что ломать рефрен нет оснований. Но иногда правитель допускал местное самоуправление. Оно работало, пока правитель (тот же или следующий) не разгонял его силами бюрократии. Это тоже рефрен, частный.

Надеюсь, что ряд возникновений самоуправления из небытия можно будет показать как *исторический транпол*[28]. Есть и бюрократический пример транпола: появление застенков тайной полиции. Они повторяют приемы измышления и ведения ложных дел, нужных начальству, хотя едва ли чекисты знали что-то о Тайной канцелярии Петра I, а в той – об Особой опричнине Ивана Грозного и так далее.

Но есть ли польза называть это транполом, или тут лишь пересказ известного? По-моему, есть, как от всякой свертки информации.

Идти против четкого исторического рефрена бессмысленно, а то и преступно. Данный вывод представляется верным независимо от того, как этот рефрен объясняют – географическим положением и окружением, историей, народным менталитетом или еще как-то. Таков вообще подход структурализма, полезный там, где его применимость уже показана.

С его позиции, перемен к лучшему Россия и ее соседи могут ждать лишь с появлением в ней разумного правителя, и надо готовить ему программу; это самоуправление, спасение природы (против воли масс), создание правопорядка и прочего.

Надо использовать прежний опыт (свой и чужой), и, в частности, не стоит ожидать, что будущая «оттепель» будет дольше, чем та, какая нынче уходит. Она и так дольше других.

Реформы быстро выдыхаются, однако их итоги бывают и долговечными. Такими, надеюсь, будут самоуправления и шаги к спасению природы. Да и культура сделает очередной скачок.

Про метод и историю

Все сказанное, часто необычное, получено методом, какой можно назвать *диатропическим*. Кроме задач, связанных с рефренами и с *ядром* и *периферией*[29], метод весьма нагляден в темах прогноза и диапрогноза (термин см. в п. «Продолжение дел Мейена»).

Сам Мейен держался обычного мнения, что подлинная теория обязана давать прогнозы, верность коих служит критерием верности теории. Мнение сложилось, когда лидером наук была небесная механика, и верно лишь для узкого круга задач физики – отрасли, обходящей вниманием разнообразие.

Мое мнение иное: прямой прогноз возможен крайне редко, и ценность теорий на деле видят в ином – в практичной самосогласованной свертке информации. Она-то и дает возможность диапрогноза. Но высказать тезис куда легче, чем ему всегда следовать.

Легче всего увидеть эту трудность на примере прогнозов в книге Игоря Дьяконова [1994]. Вот пример его верного прогноза:

«Прекращение войн, удовлетворявших социальное побуждение к агрессивности, должно привести к возрастанию агрессивности в быту, в частности терроризма и преступности, и экстремальных видов спорта» [там же, с. 383].

Мало кто видел тогда это так же ясно, как Дьяконов, и все же прогноз тут лишь называет уже текущее явление. Чуть сложнее задача, по сути близкая, и тот же автор, блестящий историк, ошибся с прогнозом:

«Каждая женщина, которая намерена родить третьего ребенка, должна задуматься о том, что этим она приближает гибель мира, которая может наступить при ее внуках» [там же, с. 382].

Тогда мы все думали сходно[30], но вскоре выяснилось, что «при ее внуках» окажется совсем

[28] Работа нужна огромная: надо изучить все случаи самоуправлений, даже кратких, бывавших в мире бюрократии. Так, Семен Дежнев, после гибели начальников похода (1648 г.) сам назначил себя приказчиком (чиновником). Но его соседи по зимовью, ватага беглых казаков («воры»), так не могли. Видимо, они ввели самоуправление, но их обычаи никто не выяснял, ибо если признать само наличие зимовья, то окажется, что Дежнев не плавал вокруг Чукотки (подробнее см. [Чайковский, 2016, с. 135–136]).

[29] О них см. [Чайковский, 1990, 2014].

[30] Помню, Мейен сказал как-то в кругу семьи (его дочка Катя родила незадолго до того его любимого внука Петю), что рожать второго ребенка должна далеко не каждая, поскольку даже двое детей на семью приводят (из-за удлинения средней продолжительности жизни) к лишнему росту числа людей Земли. Соглашаясь с ним в сути, я все же возразил ему в детали: как жить обществу, неуклонно старея? Он ничего не ответил, ответа нет и поныне.

иное: прискорбная нехватка молодых людей и вытеснение стареющей нации более плодовитыми. Так что гибель грозит пока не миру, а культуре, нашей и западной. Сейчас, вопреки Дьяконову, могу сказать:

«Рожай, если можешь вырастить, и пятого, и седьмого, ибо ты одна из сотни, а братья и сестры очень нужны обществу для горизонтальных связей, оно без них распадается».

Что же не было тогда учтено всеми нами? Только ли демография? (Снижать рождаемость нужно отнюдь не у нас и не призывами к детолюбивым женщинам, а улучшением жизни – их и их семей.) Нет, конечно. Не учтен был еще и феномен разнообразия.

Не зная о диатропике Мейена и полилогии Шушарина, Дьяконов стал строить линейную, как у Маркса, схему истории. Стадий он насчитал не 5, а 8, причем каждая короче предыдущей, так что седьмая длилась сто с чем-то лет, а восьмая, начатая с создания ООН, должна уже заканчиваться.

Кроме разных вариантов социализма, в ней главенствует «посткапиталистическая фаза» западного мира (где пролетариев намного меньше, чем собственников и управляющих), а также важен «третий мир», находящийся на разных прежних стадиях и якобы догоняющий первые два.

Как и в биологии, разные способы существовать именованы тут разными стадиями одной истории. Отсюда и ошибка в прогнозе: якобы идет «подтягивание» отставших, и судьба всех мыслится единой, а потому ограничить себя должна «каждая женщина». На самом деле единой формации не получится, а потому возможен лишь диапрогноз.

Девятую стадию, надвигавшуюся, Дьяконов не описал, зато перешел [там же, с. 352–354] к чему-то вроде диапрогноза. Едва ли экологи, думал он, смогут противостоять разрушению природы, «кроме <случая> изменения общественного строя – в какую сторону?» Верно, тут неясность полная. Он, однако, был оптимистом: «вполне вероятен выход в некую девятую фазу». Вероятность тут ни при чем, но если возможность есть, ее надо изучить.

Эта фаза «экофильна» по Шушарину: без нужного строя ее просто нет, человечество, по Дьяконову, гибнет, «и с ним погибает большая часть известной нам биосферы». Если же эта фаза наступит, то опять возможны варианты: хороший – если число людей стабилизируется на приемлемом для биосферы уровне, и плохой – если оно превысит допустимый предел, за которым последует его стремительное падение. Но наука при этом не гибнет: «на нее падает задача обеспечить сохранение оставшегося человечества». Такой отказ в конце от диапрогноза огорчает.

Историк А.В. Шубин [1992, с. 338], сравнив русские революции начала и конца XX века, тоже дал диапрогноз: или демократия и Учредительное собрание, «или аналог Октябрьского переворота» с «номенклатурной приватизацией», что и состоялось. Прямые же прогнозы его малоинтересны.

* * *

О том, что Мейен любил методологию как таковую, много написано. Мне, наоборот, она интересна лишь там, где указывает путь к ответу на чисто научный вопрос, иначе безответный. Сблизил же нас блестящий тезис Мейена, сказанный им в нашей беседе:

«Методолог нужен не для того, чтобы научить ученого правильно думать, а чтобы объяснить ему, что тот, собственно говоря, делает».

Так, если ученый ищет подтверждения своему убеждению, то, думая, что ищет истину, на деле, наоборот, закрывает себе путь к ней. Чаще всего используют довод: «так проще» (или «так понятнее»), часто оформляемый ссылкой на «бритву Оккама», невесть кем выдуманную (Вильям Оккам этого не писал, точнее см. [Чайковский, 1990, с. 222]).

По-моему, ничто так не тормозит науку, как вера в возможность уложить факты в уже заданную теорию. Но как рассуждать иначе? Тут тезис Мейена и смог мне помочь. В 1985 году закончилась моя пятилетняя тема «Становление статистического мировоззрения» [Чайковский, 1994], и надо было понять, что сделано, как увязать сделанное с дальнейшим.

Прежде моя тема рассматривалась как раздел книги «Механика, статистика, системность», так и не изданной, поскольку перемены в стране заставили нас думать, чем мы, собственно говоря, занимаемся и нужно ли это теперь. Становилось понятно, что в стране творится нечто, чего еще не бывало.

В итоге родилась картина истории культуры как последовательной смены *познавательных моделей*, много раз изложенная (например, [Чайковский, 1990, 1992а, 2010а, 2014, 2016]). В ее рамках диатропика, вчерне намеченная Мейеном, стала выглядеть как новая познавательная модель (диатропическая), призванная, между прочим, осознать происходившее. С ее помощью мне удалось понять многое. Удалось, например, понять смысл странного суждения Мейена о

«статистической природе таксона» (увы, после его кончины).

Он легко поддавался влиянию старших. В молодости это были его лучшие университетские преподаватели и А.А. Любищев, затем (с 1971 г.) Ю.А. Урманцев и Ю.А. Шрейдер с их апологией системности, а с 1976 года таким стал В.В. Налимов, певец «вероятностной модели языка». О нем и речь.

Приведу свою давнюю запись, дабы показать, сколь различно может быть понимание одного и того же слова даже у людей общего круга образования и интересов.

* * *

Гвоздем зимней школы 1977 года по теоретической биологии для студентов-биологов (в Петрозаводске) явился Налимов, статистик и науковед, приехавший с лекцией «Вероятностная модель языка». Лекция не имела ничего общего ни с биологией, ни, как оказалось, с вероятностью. И все-таки все слушали ее с большим интересом.

Каждое слово имеет несколько смыслов, а все же мы друг друга понимаем, и, как правило, мгновенно. Налимов привел пример: вернувшись из Сибири, кто-то сказал: «Я там изрядно прошелся по пельменям». Всем понятно, что его там много кормили пельменями, хотя в словаре слово «пройтись» не имеет никакого отношения к угощению и вообще к еде. Дело в том, по Налимову, что кроме обычных значений слов, бывают еще и редкие; всем известно, что слово «прошелся» имеет еще и шутливое значение вроде «поимел дело». Не получив смысла во фразе при обычном понимании ее слов, мозг, по Налимову, быстро перебирает необычные их значения, пока фраза не обретет смысл. Налимов заключил, что каждому слову каждый человек неосознанно приписывает различные значения с разными вероятностями и, встретив слово в тексте, сперва придает ему самый вероятный смысл, затем – следующий и т.д.

Слушатели простодушно поверили.

Налимов еще пример привел, разговор с продавщицей бакалеи:

– У вас есть корица?

– Не бывает.

– А где бывает?

– У нас.

– Вы же сказали: не бывает!

– Не бывает – значит, редко бывает.

Здесь, пояснил лектор, продавщица разъяснила покупателю редкий смысл слова «бывает». Все опять согласились, но во мне зашевелилось сомнение: причем тут вероятность? После лекции, пока мы шли из кинозала, где заседали, в ресторан, где нам был заказан обед, спрашиваю:

– Василь Василич, а не кажется ли Вам, что слово «вероятность» здесь некорректно, что оно к делу не относится?

– Как сказать! – парировал он, весело тряхнув седым чубом. – Оно у меня тоже применено в редком, довольно неопределенном смысле. Речь не о вероятности как мере, а о вероятностном способе рассуждения. Как говорит Колмогоров, наше серьезное преимущество – вероятностное мышление.

Преимущество сомнительно, и великий математик А.Н. Колмогоров тут ни при чем, но не нашелся я, что ответить или спросить, на том беседа и кончилась.

Много позже понимаю: Налимов живет в статистическом мировоззрении, в мире идей его молодости. Где все объясняли через случайность, а саму ее смешивали с вероятностью. Но ведь вероятность – лишь мера случайности. Сперва убедись, если сумеешь, что вот это явление случайно, а потом уж спрашивай, часто ли оно случается, имеет ли меру и какова (велика ли) его вероятность.

В примере с корицей никакой случайности нет, просто слово «бывает» зафиксировано здесь в двух смыслах. В первом смысле («можно ожидать поступления в наш магазин») ответ продавщицы был отрицателен (не ждем), но есть и другой смысл, нормативный: корице положено быть в бакалейном отделе, в этом смысле она там «бывает», хотя ни разу не была и не ожидается. То есть, если поступит, то в данный отдел. Покупатель этого смысла слова не знал, а продавщица знала, и частота («редко») здесь ни при чем.

Нужное значение слова определяется контекстом, а не частотой, не вероятностью. И «редко» вовсе не редкое значение слова (как говорил Налимов), редка ситуация – вопрос «где бывает?» после ответа «не бывает».

Однако почти все ситуации уникальны, и накапливаешь их в мозгу или нет – все равно частот не получишь. Надо просто уметь увидеть новое значение слова, если оно придает фразе смысл. Смысл, цельную картину, а не какую-то вероятность, никак не заданную.

Налимов привел еще такой пример. Девушка говорит подруге: «Он вчера приходил пудрить мне мозги». Все в зале засмеялись, то есть поняли смысл. Понял и я, хотя раньше не слыхал другого смысла слова «пудрить», кроме как «посыпать порошком».

Значит, я извлек смысл слова из контекста, а не выбрал из ранее мне известных смыслов. Что тогда значит слово «вероятностная» в устах Налимова, убежденного статистика? Скорее всего, «неоднозначная». Если смысл слова неясен или

нечеток, то хочется говорить про вероятность. Хочется, но не следует, ибо здесь может отсутствовать случайность, а тем более – вероятность.

* * *

Словом, хотя Налимов был яркий мыслитель, но, на мой взгляд, в данном его построении нет ни вероятности, ни модели, ни языка, а есть убеждение, что мышление вероятностно. Оно, якобы, состоит в комбинировании человеком слов, причем каждое имеет для него некое распределение вероятностей.

Что это не так, ясно даже из приводимых Налимовым примеров: там легко понимается смысл слова, какой человек ранее не знал.

Трудно поверить, но именно отсюда Мейен (мы оба познакомились с Налимовым там, в Петрозаводске) заимствовал свою «статистическую природу таксона». От этого был всего шаг до признания случайности новации (а с тем и отказа ею удивляться), что понял я лишь после смерти Мейена и потому убедительно возразить ему не смог.

Понять помогла позже концепция познавательных моделей. Мейен работал в системной познавательной модели, чувствовал на своем материале ее недостаточность (неумение работать с разнообразием) и потому нуждался в диатропической познавательной модели, каковой, однако, еще не было в науке. Диатропическая природа таксона, которую он тогда (когда подружился с Налимовым и писал вместе с ним статью) уже понял, предстала ему как статистическая – в том же переносном смысле, что частота словоупотреблений у Налимова. Статистическая познавательная модель, в которой пребывал Налимов, во многом сходна с диатропической (расчленяющее, элементное знание) и легко была принята Мейеном как рабочая.

Если в статистической познавательной модели новация выступает как наблюдение ненулевой частоты нового типа организмов (а рост частоты вроде понятен сам по себе), то в диатропической – это обнаружение действительно нового, новой клетки диасети. Если новация открывает новую строку таблицы, прежде неизвестную (то есть как бы не бывшую в природе), то налицо новый уровень организации природы.

Был и еще один итог знакомства Мейена с Налимовым: «Он сам себе методолог!» – сказал мне Мейен с восторгом. Этим стоило воспользоваться нам обоим, ибо штатные методологи хоть и полезны, но редко понимают суть дел глубоко. И анализ роли мутаций в эволюции, и метод познавательных моделей, и первые попытки анализа природы случайности – все это были, еще при Мейене, мои шаги в стиле «сам себе методолог». Кстати, он их охотно обсуждал.

Разумеется, «сам себе методологом» был и Мейен, но он рассуждал на основе огромного массива фактов палеоботаники, а кем был я? Биоматематиком в институте генетики, с каждым годом все больше понимавшим пустоту своих занятий. («Юра у нас на полставки эксперт, на полставки статист», – сказал мой прежний, еще до института генетики, шеф, математик Александр Лунц.) Правда, пустоту этих моделей удалось подтвердить математически, и Мейен, в отличие от тех, кому мои вычисления предназначались, быстро оценил их значение. Но откликов не было (кроме: «читали мы, читали»), и далее продолжать все это не имело смысла.

Зато мои первые шаги в область истории той науки, какой мы оба занимались (эволюции), Мейен сразу же признал, притом с радостью, как мою новую профессию.

Он тогда выразился в том духе, что каждый ученый обязан в совершенстве владеть какой-то предметной областью и что проблемная история науки вполне таковою является. Конечно, Мейен был сам себе историком и в палеоботанике, и во многом ином, однако в области эволюционных идей это у него уже не получалось (слишком много надо бы для этого прочесть, а затем еще и осознать место прочитанного в старинной проблематике). Поэтому он с жадностью слушал о моих первых находках – например, об элементах номогенеза у физика Пьера Луи Мопертюи.

Шутка ли – любимое учение Мейена (не считая его собственного) оказалось на полвека старше ламаркизма (даже если учесть тот факт, что ламаркизм пошел от Эразма Дарвина). Мейен вообще всегда рад был узнать, что «старики бывали порой умней нас».

Меня тогда удивляло, почему эволюционист Мопертюи, яркий мыслитель, не переведен ни на какие языки, не переиздан и давно не изучается. Но когда такие авторы выстроились в ряд (опять диатропика), все встало по местам: для историков науки они «предшественники Чарльза Дарвина», их достаточно поминать списком. Хотя Мопертюи и другие ранние эволюционисты – ученые сами по себе. Это Берга и других номогенетиков можно бы назвать последователями Мопертюи, если бы они его читали.

Увы, картины науки прежних эпох всерьез стали разворачиваться передо мной уже без Сережи.

Литература

Абелев Г.И. Загадка происхождения специфического иммунитета // Онтогенез. – 1997. – Т. 28. – № 1. – С. 58.

Агаев М.Г. Экспериментальная эволюция. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 272 с.

Антонова Н.Б., Захарова Л.М., Вечер Л.С. Теория и методология государственного управления. Курс лекций. 3-е изд., доп. – Минск: Академия управления, 2005. – 231 с.

Бабурин С.Н. Количество жертв мы не узнаем никогда // Русский рубеж (газета, приложение к газете «Литературная Россия»). – 1994. – № 1. – С. 11.

Богатых Б.А. Природа мерономии-рефреномии в рамках фрактально-эпигенетического подхода // Палеоботанический временник. – 2015. – Вып. 2. – С. 128–137.

Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. Т. 1, 2. – М., 1909–1912.

Бородин П.М. Эволюция путем естественного отбора и ее альтернативы // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2013. – № 4/2. – С. 864–871.

Бродель Ф. Время мира. – М.: Прогресс, 1992. – 679 с.

Бродель Ф. Динамика капитализма. – Смоленск: Полиграмма, 1993. – 122 с.

Гилберт С.Ф., Опиц Д.М., Рэф Р.А. Новый синтез эволюционной биологии и биологии развития // Онтогенез. – 1997. – Т. 28. – № 5. – С. 325–343.

Гордин Я.А. Меж рабством и свободой. – СПб.: Лениздат, 1994. – 378 с.

Давыдова А.В. Поправки в атмосфере // Власть (журнал Издательского дома «Коммерсантъ). – 2016. – № 42. – С. 38–39.

Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. – М.: Наука, 1994. – 384 с.

Журавлев А.Ю. Ранняя история Metazoa – взгляд палеонтолога // Журн. общ. биол. – 2014. – № 6. – С. 411–465.

Забелин С.И. Люди, которым «не все равно», сильны не организацией, а духовным единством // Спасение (экологическая газета). – 1991. – № 3. – С. 3.

Заварзин Г.А. Фенотипическая систематика бактерий: Пространство логических возможностей. – М.: Наука, 1974. – 143 с.

Заварзин Г.А. Анти-Рынок в природе // Природа. – 1995. – № 3. – С. 46–60.

Игнатьев И.А. Об эволюции Берга // Ценологические исследования. – Вып. 28. – 2005. – С. 379–388.

Игнатьев И.А. «Наше все» российской палеоботаники (К 80-летию со дня рождения С.В. Мейена) // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал. – 2015а. – Т. 11. – С. 1–14.

Игнатьев И.А. Эволюционная концепция А.А. Любищева (Опыт реконструкции) // Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал. – 2015б. – Т. 11. – С. 47–53.

Красилов В.А. Эволюция и биостратиграфия. – М.: Наука, 1977. – 256 с.

Красилов В.А. Метаэкология. Закономерности эволюции природных и духовных систем. – М.: Палеонтологический институт РАН, 1997. – 208 с.

Кунин Е.В. Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции. – М.: Центрполиграф, 2014. – 603 с.

Лашин С.А., Суслов В.В., Матушкин Ю.Г. Теории биологической эволюции с позиций современного развития системной биологии // Генетика. – 2012. – № 5. – С. 573–589.

Любищев А.А. Понятие «великого государя» и Иван Грозный (1953) / Публикация и вступительная статья Р.Г. Баранцева // Звезда. – 1995. – № 8. – С. 117–156.

Мейен С.В. О соотношении номогенетического и тихогенетического аспектов эволюции // Журн. общ. биол. – 1974. – № 3. – С. 353–364.

Мейен С.В. Основные аспекты типологии организмов // Журн. общ. биол. – 1978. – № 4. – С. 495–508.

Мейен С.В. Академическая наука?.. // Материалы симпозиума, посвященного памяти Сергея Викторовича Мейена (1935–1987). Москва, 25–26 декабря 2000 г. – М.: ГЕОС, 2001а. – С. 265–279.

Мейен С.В. Листья на камне. – М.: ГЕОС, 2001б. – 492 с.

Милюков П.Н. Из истории русской интеллигенции. Сборник статей и этюдов. – СПб.: Типография Монтвида, 1903. – 308 с.

Минард Е. Эволюция богов. Альтернативное будущее человечества. Пер. с англ. – М.: Мир, 1996. – 111 с.

Минеев А., Чекурдинов А. Экология. Повестка на XXI век // Эхо планеты. – 1992. – № 36. – С. 7–10.

Никитинский Н. Сколько же трупов было в Белом доме? // Независимая газета. – 1993. – № 208 (30 октября). – С. 1.

Павловский Г.О. Революция в России возможна, проста, но ни черта не решает // Московские новости (газета). – 1991. – № 21. – С. 6.

Плахов А.С. В бедности пропавшие // Власть. – 2016. – № 42. – С.44–45.

Раутиан А.С. Букет законов эволюции // Эволюция биосферы и биоразнообразия. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. – С. 20–38.

Собчак А.А. Тбилисский излом, или Кровавое воскресенье 1989 года. – М.: Сретенье, 1993. – 230 с.

Франк-Каменецкий М.Д. Механизмы торможения в науке // Иного не дано. – М.: Прогресс, 1988. – С. 634–647.

Хижняк В.Г. Не открывайте кингстоны, господа // Набат (газета, Минск). – 1992. – № 18.

Октябрь 1993. Хроника переворота / *Павловский Г.О.* (сост.). – М.: Век XX и мир, 1994. – 291 с. (Специальный выпуск журнала «Век XX и мир»).

Чайковский Ю.В. Напоминать и осмысливать // Химия и жизнь. – 1989. – № 9. – С. 19–26.

Чайковский Ю.В. Элементы эволюционной диатропики. – М.: Наука, 1990. – 271 с.

Чайковский Ю.В. Познавательные модели, плюрализм и выживание // Путь. – 1992а. – № 1. – С. 62–108.

Чайковский Ю.В. Что ждет нас после кризиса? // Развитие (бывшая «Строительная газета»). – 1992б. – №№ 33, 34, 36.

Чайковский Ю.В. К общей теории эволюции // Путь. – 1993. – № 4. – С. 101–141.

Чайковский Ю.В. Становление статистического мировоззрения // Метафизика и идеология в истории естествознания. – М.: Наука, 1994. – С. 62–107.

Чайковский Ю.В. Диатропика, эволюция и систематика. К юбилею С.В. Мейена. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010а. – 407 с.

Чайковский Ю.В. Зигзаги эволюции. Развитие жизни и иммунитет. – М.: Журнал «Наука и жизнь», 2010б. – 110 с.

Чайковский Ю.В. Как выжить в наше время // Вестник РАН. – 2012. – № 1. – С. 70–77.

Чайковский Ю.В. В круге знания. Статьи для энциклопедий. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. – 271 с.

Чайковский Ю.В. Заключительные мысли. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. – 175 с.

Шафикова Т.Н., Омеличкина Ю.В. Молекулярно-генетические аспекты иммунитета растений к фитопатогенным бактериям и грибам // Физиология растений. – 2015. – № 5. – С. 611–627.

Шубин А.В. Гармония истории. Введение в теорию исторических аналогий. – М., 1992. – 342 с.

Шушарин А.С. Антиманифест гуманизма. Кризис советского общества: причины, характер, пути разрешения // Развитие (газета) – 1991. – № 17–18.

Шушарин А.С. Полилогия современного мира. (Критика запущенной социологии). Т. 1–5. – М.: Мысль, 2005–2006.

Ярилин А.А. Основы иммунологии. – М.: Медицина, 1999. – 608 с.

Porchet B. Contribution à l'étude des réactions immunitaires chez les invertébres // Bull. de la Société vaudoise des sciences naturelles (Lausanne). – 1928 – Vol. 56. – № 221. – P. 553–584.

Skene K.R. Life's a Gas: A Thermodynamic Theory of Biological Evolution // Entropy. – 2015. – Vol. 17. – P. 5522–5548.